



ВАСИЛИЙ
АКСЁНОВ

Московская сага

Книга вторая

Война и тюрьма

АЗБУКА-КЛАССИКА

18+

Московская сага

Василий Аксенов

**Московская сага. Книга
2. Война и тюрьма**

«Азбука-Аттикус»

1993

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Аксенов В. П.

Московская сага. Книга 2. Война и тюрьма / В. П. Аксенов —
«Азбука-Аттикус», 1993 — (Московская сага)

ISBN 978-5-389-22464-3

Василий Павлович Аксёнов – признанный классик и культовая фигура русской литературы. Его произведения хорошо известны не только в России, но и за рубежом. Успех пришел к Аксёнову еще в 1960-е годы, – откликаясь блистательной прозой на самые сложные и актуальные темы, он не один десяток лет оставался голосом своего поколения. В числе полюбившихся читателям произведений Аксёнова – трилогия «Московская сага», написанная в начале 1990-х годов и экранизированная в 2004 году. Трилогию составили романы «Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир». Их действие охватывает едва ли не самый страшный период в российской истории XX века – с начала двадцатых до начала пятидесятых годов. Трех поколениям семьи Градовых предстоит пройти все круги ада сталинской эпохи. «Война и тюрьма» – вторая книга трилогии, которая посвящена событиям Второй мировой войны. Не всем героям романа суждено дождаться победы и пережить послевоенные репрессии.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22464-3

© Аксенов В. П., 1993
© Азбука-Аттикус, 1993

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава I | 8 |
| Глава II | 15 |
| Глава III | 26 |
| Глава IV | 33 |
| Глава V | 44 |
| Глава VI | 53 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 54 |

Василий Аксёнов

Московская сага

Книга вторая

Война и тюрьма

Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения.

Лев Толстой. Война и мир

© В. Аксёнов (наследники), 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство АЗБУКА®

Предваряя повествование эпиграфом, писатель иной раз через пару страниц полностью о нем забывает. В таких случаях цитата, подвешенная над входом в роман, перестает бросать свет внутрь, а остается лишь в роли латунной бляшки, некоего жетона, удостоверяющего писательскую интеллигентность, принадлежность к клубу мыслителей. Потом в конце концов и эта роль утрачивается, и, если читатель по завершении книги удосужится заглянуть в начало, эпиграф может предстать перед ним смехотворным довеском вроде фигурки ягуара, приваренной к дряхлому «москвичу». Высказывая эти соображения, мы понимаем, что и сами себя ставим под удар критика из враждебной литературной группы. Подцепит такой злопыхатель наш шикарный толстовский эпиграф и тут же ослабит – вот это, мол, как раз и есть «ягуар» на заезженной колыхаге! Предвидя такой эпизод в литературной борьбе, мы должны сразу же его опровергнуть, с ходу и без ложной скромности заявив, что у нас, в нашей многолетней беллетристической практике, всегда были основания гордиться гармонической связью между нашими эпиграфами и последующим текстом.

Во-первых, мы эпиграфами никогда не злоупотребляем, а во-вторых, никогда не использовали их для орнамента, и если уж когда-нибудь прибегали к смутным народным мудростям вроде «В Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят», то с единственной лишь целью дальнейшего усиления художественной смуты. Вот так и тот наш, там, позади, только что оставленный эпиграф, вот эта-то, ну, чеканки самого Льва Николаевича идея о непостижимости «абсолютной непрерывности движения» взята нами не только для приобщения к стаду «великих медведиц» (как бы тут все-таки не слукавить), но и главным образом для того, чтобы начать наш путь через Вторую мировую войну. Эпиграф этот для нас будет чем-то сродни яснополянкой кафельной печке, от которой и намерены танцевать, развивая, а порой и дерзновенно опровергая, большую тупиковую мысль национального гения. Отправимся же далее по направлению к войне, в которой среди большого числа страждущих миллионов обнаружим и лица наших любимых членов семьи профессора Градова. Вклад их в громоподобный развал времен не так уж мал, если держаться точки зрения Л. Н. Толстого, сказавшего, что «сумма людских произволов сделала и революцию, и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила».

Следовательно, и старый врач Б. Н. Градов, и его жена Мэри, столь любившая Шопена и Брамса, и их домработница Агаша, и даже участковый уполномоченный Слабопетуховский в гигантском пандемониуме человеческих произволов влияли на ход истории не хуже де Голля, Черчилля, Рузвельта, Гитлера, Сталина, императора Хирохито и Муссолини. Перечитывая недавно «Войну и мир» – впервые, должен признаться, с детских лет и вовсе не в связи с началом «Войны и тюрьмы», а для чистого читательского удовольствия, – мы столкнулись с рядом

толстовских рассуждений о загадках истории, которые порой радостно умиляют нас сходством с нашими собственными, но порой и ставят нас в тупик.

Отрицая роль великих людей в исторических поворотах, Лев Николаевич приводит несколько примеров из практической жизни. Вот, говорит он, когда стрелка часов приближается к десяти, в соседней церкви начинается благовест, но из этого, однако, не значит, «что положение стрелки есть причина движения колоколов». Как же это не значит, удивится современный, воспитанный на анекдотах ум. Ведь не наоборот же? Ведь не колокола же двигают стрелки. Ведь звонарь-то тоже взялся за веревки, предварительно посмотрев на часы. Толстой, однако, приводя этот пример, имел в виду что-то другое.

Глядя на движущийся паровоз, слыша свист и видя движение колес, Толстой отрицает за собой право заключить, «что свист и движение колес суть причины движения паровоза». Свист, разумеется, не входит в число причин, но вот насчет колес позвольте усомниться – именно ведь они, катясь вперед или назад, вызывают движение всей нагроможденной на них штуки. Тут снова нам не остается ничего иного, как предположить, что Толстой что-то другое имел в виду для иллюстрации исторических процессов.

Последний пример, приведенный в третьей части третьего тома «Войны и мира», совсем все запутывает, если только не катить бочку на издательство «Правда», выпустившее в 1984 году собрание сочинений в двенадцати томах. Крестьяне считают, пишет Толстой, что поздней весной дует холодный ветер из-за того, что раскрывается почка дуба. Цитируем с эквивоком к нашему блестящему эпиграфу: «...хотя причина дующего при разворачивании дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть разворачиванье дуба, потому только, что сила ветра находится вне влияния почки».

Тут как-то напрашивается предположить обратное развитие событий, то есть раскрытие почки под влиянием холодного ветра, однако Толстой этого не касается, и мы предполагаем, что он совсем не то имеет в виду, что на поверхности, что мысль его и его сильнейшее религиозное чувство полностью отмежевываются от позитивистских теорий XIX столетия и уходят в метафизические сферы. То есть мысль его вдруг распахивает дверь в бездонные пустоты, в неназванность и неузнанность, где предстают перед нами ошеломляющие все эти «вещи в себе».

Увы, несколькими строками ниже граф вдруг возобновляет связь со своим веком «великих научных открытий», чтобы заявить: «...я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история. И попытки этого уже были сделаны».

В общем, в результате этих отвлеченных и нерешенных (как он считает – пока!) задач Толстой приходит к мысли, что «для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами».

Почти марксизм. Ленин, очевидно, и эту жажду познаний имел в виду, присуждая графу новый титул «зеркала русской революции». Вождь, впрочем, должен был бы знать, что с Толстым всегда не все так просто, что он не только отражением «суммы людских произволов» занимался, но и свой немалый «произвол» добавлял в эту сумму: а прежде всего полагал, что движение этих бесконечных сослагательных направляется Сверху, то есть не теориями задвинутого экономистов или антропологов, а Провидением.

Но вот бывает же все-таки, что некоторые теоретики и практики выделяются из «суммы произволов» и посылают миллионы на смерть и миллиарды в рабство, стало быть, произвол произволу рознь и нам при всем желании трудно прилепиться к роевой картине, какой бы впечатляющей она ни была, и отвергнуть роль личности в истории.

Все эти размышления на толстовские темы, как бы являющиеся полным подтверждением нашего эпиграфа, понадобились нам для того, чтобы подойти к началу сороковых годов

и глянуть сквозь магический кристалл в очередную даль все того же, единственного мирового «свободного романа», одной из частей коего мы хотели бы видеть и наше повествование, и там обозреть феерию «человеческих произволов», известную в истории под названием Вторая мировая война.

Глава I

Вы слышите, грохочут сапоги

Колонна новобранцев, несколько сот московских юнцов, вразнобой двигалась по ночной Метростроевской улице (бывшей Остоженке) в сторону Хамовнических казарм. Несмотря на приказ «в строю не курить», то тут, то там в темной массе людей занимались крошечные зарева, освещающая губы, кончики носов и ладони. Вчерашним школярам не впервой было дымить втихаря, в кулак. Они и шли-то из школы, что в Сивцевом Вражке, где был сборный пункт, то есть из привычной обстановки. Шуршали штатские штиблеты, мелькали и шикарные белые туфли, еще вчера натирившиеся зубным порошком «Прибой», бесшумно пролетали матерчатые тапочки.

Куда направляется марш, не было сказано, однако все уже знали: в Хамовнические казармы на санобработку, медосмотр и распределение. Москва была пустынна, затемнена, фонари не горели, окна были закрыты плотными шторами обязательной светомаскировки, но небо светилось, в нем стояла полная луна, хотя не она была главным источником света, а прожекторы, пересекавшие лучами священный свод в разных направлениях, то скрещиваясь, то образуя гигантские лейтенантские шевроны. Под эти лучи попадали только колбасы аэростатов воздушного заграждения, но все знали, что в любой момент может высветиться и что-нибудь другое. В городе ходили глухие слухи, что над столицей уже не раз кружили немецкие разведчики.

В глубине строя, среди однолеток, шагал девятнадцатилетний Митя Градов (Сапунов). Он стал за эти годы довольно рослым парнем, с широкими плечами, развитым торсом, чуть длинноватыми руками и чуть коротковатыми ногами, хорошим чубом, скуластым и челюстным лицом, сильными и непонятно светящимися глазами; в общем, славный юноша. Как раз за три дня до начала войны он окончил среднюю школу, готовился поступить в медицинский (естественно, по совету и по протекции деда Бориса), но все повернулось иначе: не прошло и полутора месяцев, как был призван.

Кто-то в строю уже завел: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война!» Песня эта совсем недавно стала вылетать из репродукторов и сразу же вошла в обиход. Что-то в ней было мощно-затягивающее, не оставляющее сомнений. Даже и Мите, который всегда чувствовал себя чужаком в советском обществе, казалось, что тяжелый маршевый ритм и кошмарные слова («Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, отребью человечества сколотим крепкий гроб. . .») заполняют и его какой-то могучей, хоть и не очень отчетливо адресованной яростью. Впрочем, сейчас, в этом строю, в ночи, во время первого своего марша к войне, не песня его беспокоила, а присутствие Цецилии Розенблюм. Колонна сопровождалась кучкой мамаш, и в ней семенила Цецилия. Кто ее звал сюда и кому нужны эти телячьи нежности? Мамаша в ней, видите ли, проснулась! Экая бестактность, крутилась в голове у Мити чужая, разумеется, из лексикона деда Бориса фраза. Экая бестактность! За все эти годы приемный сын ни разу не назвал Цецилию Розенблюм матерью. Ее отца Наума Матвеевича он охотно звал «дед», да, впрочем, не только звал, но и считал своим, почти естественным, почти таким же, как дед Борис, дедушкой. Отца приемного, Кирилла Борисовича, давно уже пропавшего в колымских тундрах, помнил все-таки отцом, может быть, даже больше, чем отцом, потому что не стерлась еще в нем память о настоящем отце Федоре Сапунове, жестоком и диком мужике. Он часто и в какие-то самые сокровенные моменты вспоминал, как однажды, за год до ареста, Кирилл присел у его кровати и, думая, что он спит, глядел на него с доброй любовью. Притворяясь спящим, сквозь ресницы, как сквозь сосновые кисти, он смотрел на Кирилла и думал: какое лицо у моего отца, какие глаза человеческие! И сейчас он всегда

в своих мыслях называл его отцом: как там отец, жив ли, не убили ли изверги отца моего? Он не очень-то помнил, называл ли его когда-нибудь отцом вслух, или так до конца и держалось изначальное «дядя Кирилл», однако убеждал себя, что называл, и не раз, и в конце концов убедил, что называл своего спасителя от казахстанской высылки, в которой вымерло три четверти односельчан, не дядей, но отцом. А вот жену отца, и ведь тоже спасительницу, Цецилию Наумовну даже в самых отдаленных мыслях Митя не мог назвать матерью. Вот ведь вроде и тетка незлая, даже временами чрезвычайно добрая, а в матери не годится. Никак не могла бестолковая, рассеянная, всегда донельзя нелепо одетая и не всегда идеально чистая (он иногда замечал, что она по утрам в беспрерывном бормотании, чертыхании, поисках книг и папирос забывает умыться), да, не вполне благовоющая ученой марксистка не могла вытеснить из Митиной памяти гореловскую тощую мамку с ее зуботычинами, постоянным хватанием за уши, этим единственным педагогическим методом, что был в ее распоряжении. Обидные и болезненные щипки не очень-то и запомнились Мите, запомнилось другое: иной раз схватит мамка за ухо, чтобы наказать, больно сделать, а вместо этого вдруг прикроет ухо всей ладонью и приголубит, словно маленькую птицу. Вот это от нее и осталось, от сторевавшей мамки.

Повестка пришла, естественно, не в Серебряный Бор, где Митя жил почти постоянно, а на квартиру Цецилии, по месту прописки. Поэтому и в сборном пункте он оказался не на окраине, а в центре, на Бульварном кольце. В этой школе их держали чуть ли не сутки, туда и полевая кухня приходила из Хамовнических казарм, и всякий раз, как он выглядывал из окна, за железной решеткой забора видел среди других толпящихся мамаш и Цецилию. Тоже мне, и в этой мамаша проснулась! Теперь она быстро шла вровень с колонной, иногда переходя на тротуар. Юбка сзади чуть ли не по асфальту волоклась, а спереди косо задралась до левого колена в морщинистом толстом чулке. Вдруг вспомнилось совсем уж стыдное – титьки Цецилии, как Кирилл их хватал, как ласкал их во время первого свидания в том сарае. Ту сцену, которую подылавший от голода пацан подсмотрел сквозь щели в гнилых бочках, Митя всегда старался забыть и вроде бы забыл, а вот сейчас вспомнилась. Трудно себе представить, что та рыжая деваха с очень белым, веснушчатым телом и эта пожилая еврейка – одно лицо. Ну как это можно быть такой ужасной еврейкой, такой, можно сказать, просто вопиющей старейшей еврейкой, подумалось Мите, и он содрогнулся от отвращения. От отвращения не к «тетке Циле», а к самому себе. Впервые ему пришлось в голову, что он, может быть, потому и не называет ее матерью, что она слишком еврейская, что он ее, может быть, даже стыдится. В доме Градовых не было антисемитизма, и в этом духе Митя и был воспитан, но вдруг вот как бы приоткрылась где-то в глубине какая-то заслонка, и он понял, что ужасно стыдится Цецилии, стыдится перед новыми товарищами, новобранцами, как бы они не подумали, что она его мать.

Колонна стала уже пересекать Садовое, когда Цецилия, заметив, что сопровождающий сержант ушел вперед, прямо замешалась в ряды и стала совать Мите узелок с едой.

– Возьми, Митенька, пачка печенья «Земляничного», фунт «Белки», ты же всегда любил, полдюжины яиц, банка рыбьего жира, смотри, выпей обязательно!

Рыбий жир в этом кулке, наверное, давно уже просочился через пробку, желтые пятна расплзлись по узелку, воняло. Митя отталкивал узелок локтем:

– Не надо. Да не надо же, тетя Циля!

Боялся, конечно, не запаха, а причастности к еврейке, которая еще и вонючий узелок сует, как будто нарочно, как будто для пушного анекдота. Какого черта, еще рыбий жир туда засунула?! Видно, вспомнила, что детям рыбий жир дают... Эх, какая же я, очевидно, сволочь, злился он.

– Если тебя сразу отправят, Митенька, немедленно напиши. Сразу же по приезде напиши, а то мы все с ума сойдем от волнения, – бормотала Цецилия, приближая к нему свое лицо; верх-

няя губа с большой родинкой под левым крылом носа сильно вытягивалась, кажется, хотела поцеловать.

Ребята вокруг посматривали, хмыкали. Митю прошибало потом от смущения.

– Хорошо, хорошо, тетя Циля. Напишу, тетя Циля. Идите домой, тетя Циля!

Она прервала его бормотание почти отчаянным возгласом:

– Да какая же я тебе «тетя Циля»? Я ведь мама тебе, Митенька!

Сержант, вернувшийся к середине колонны, вдруг заметил в рядах инородное тело. Ухватил Цецилию за рукав: «Ты что, гражданка, очумела? В воинскую колонну? Под арест захотела?!» Рукав вязкой кофты непомерно растягивался, образуя что-то вроде крыла летучей мыши. Цецилия споткнулась. И узелок уронила, и книги рассыпались из соломенной сумки. Колонна тут же оставила ее позади, только в задних рядах захохотали: «Во ползет еврейка!»

Шагавший рядом с Митей тощий маленький Гошка Круткин, из работяг со стройки Дворца Советов, подтолкнул его локтем и спросил довольно равнодушно:

– А ты что, Мить, на самом деле из евреев будешь?

Митя тут взорвался:

– Русский я! На сто процентов русский! Ты что, не видишь? Никакого отношения к этим... к этим... не имею! А эта... эта... просто так, соседка!

Они уже стали проходить под арку длинного желтого казарменного здания, когда вдруг завывли сирены и совсем рядом забухала зенитная пушка. Уже из окон казармы новобранцы увидели, как над крышами Замоскворечья стало разгораться зарево пожара. Первые бомбы упали в ту ночь на Москву.

Тревога продолжалась несколько часов. День занялся, а сирены все выли, то там, то сям били зенитки, но теперь уже явно в пустое небо. Пожар на Шаболовке в конце концов погасили. Видимо, немцы целились в радиобашню, но не попали, подожгли несколько жилых домов.

Трамваи в то утро пошли на два часа позже. Их брали штурмом такие огромные толпы, что Цецилия даже и приблизиться не решилась, отправилась в Лефортово пешком. Ну а когда добралась, оказалось, что очередь на передачу посылок в этот день совсем непомерная. Ей дали огрызок химического карандаша, и она, немного его послунявив, написала вслед за впереди стоявшей женщиной пятизначный номер на ладони. Номер этот означал, что стоять придется весь день, до темноты, а может быть, и уйти ни с чем. Так уж и рассчитывайте, гражданочка, что на весь день, сказала ей соседка, у которой припасено было на этот случай вязанье. Публика знала, что в Лефортовской тюрьме НКВД только три окошка для передачи продовольственных посылок, а иногда из этих трех работают только два или одно, и в обеденное время все три закрываются на два часа.

У Цецилии был уже большой опыт по стоянию в тюремных очередях. Обычно она брала с собой книги, И. Сталина «Вопросы ленинизма», скажем, или что-нибудь еще фундаментальное, делала закладки, выписывала цитаты, это потом очень помогало на лекциях. Книжки, вечные ее друзья, надежные марксистские книги, помогали ей также бороться с отвратительной тревогой, которую она всегда испытывала в этих очередях. Дело в том, что посылки в адрес Кирилла не всегда принимались. В его деле, очевидно, существовала какая-то путаница, какая-то бюрократическая ошибка. Иногда, после целого дня стояния, посылку из окошечка выбрасывали, говоря, что Градова Кирилла Борисовича в списках лиц, имеющих право на получение посылок, нет. Это могло означать самое ужасное... нет, нет, только не это, не самое ужасное, могло ведь что-нибудь произойти и менее ужасное, ну, скажем, его временно лишили права на получение посылок за какую-нибудь провинность там, внутри. При его принципиальности, при его, прямо скажем, упрямстве он мог рассердить каких-нибудь товарищей из администрации, не правда ли? Ведь иногда же посылку просто принимали без разговоров, просто давали

расписаться в какой-то ведомости и все, а ведь это явно означало, что он есть в списках лиц, имеющих право на получение продовольственных посылок, логично?

Очередь к окошечкам тюрьмы вилась по тихим лефортовским переулкам, где не чувствовалось ни войны, ни вообще двадцатого века. Заборчики, голубятни над низкими крышами, в окнах резеда, напиток «гриб», киски, на углу керосинная лавка, какие-то глухие времена, как бы восьмидесятые годы, общественный застой. Только уж при самом приближении возникало современное строение, бесконечная и безликая бетонная стена, на которой иногда можно было видеть приклеенные газеты или агитационные плакаты.

Редкие прохожие, обитатели близлежащих тихих переулков, старались проходить, как бы не замечая вечной, глухо бормочущей очереди родственников «врагов народа». Может быть, иные из прохожих и сами были родственниками «врагов народа», и стояли где-нибудь в каких-нибудь других подобных очередях, здесь же никто из них не выказывал никакой симпатии к усталым «посылочникам», тем более что то тут, то там в укромных местах переулков можно было увидеть присевших женщин или сосредоточенно опустившего голову редкого мужчину: волей-неволей народ выходил из очереди пописать, нарушая тем самым идиллию лефортовских переулков и дворов.

Книги помогали Цецилии не только коротать время в очередях, но и отгораживаться от окружающих, то есть не ставить себя с ними на одну доску. Все-таки кто их знает, что за народ вокруг. Ведь не могли же наши органы совершить столько ошибок, как в случае с Кириллом, а эти женщины рядом, может, просто и по случайностям судьбы оказались женами, сестрами, матерями осужденных политических преступников, а может быть, и еще не выявленные соучастницы? Поручиться нельзя.

Отгораживаться надо было и от разговоров вокруг, которые нередко велись совершенно безответственно, даже на грани провокации. Вот это удавалось Цецилии труднее всего. Хоть сама и не разговаривала, но невольно прислушивалась: в этих разговорах то и дело проскальзывало что-то относящееся к Кириллу. Вот сейчас, например, две женщины за спиной шепчутся об осуждении «без права переписки». «Мой муж осужден на десять лет без права переписки, но я все-таки надеюсь...» – бормотал плачущий голосок, как бы напрашивающийся на утешение. «Бросьте ваши надежды, дорогая, – отвечал другой голос, хоть и приглушенный, но почти вызывающий. – Лучше ищите себе другого мужа. Неужели вы не понимаете, что означает это „без права переписки“? Они все расстреляны, все без исключения!» Сквозь сдавленные рыдания первая женщина еле слышно выговаривала: «Но ведь посылки-то иногда принимают... иногда принимают...» – «Ах, оставьте! Зачем вам этот самообман?» – безжалостно парировала этот аргумент вторая.

Цецилия вспыхнула, не выдержала, оглянулась. Прислонившись к фонарному столбу, стояли двое – одна молоденькая, худенькая, беззвучно рыдающая, вторая – круглолицая женщина средних лет, с короткой стрижкой и папиросой. Цецилия, забыв о своих правилах, взвилась на нее:

– Ну что вы несете?! Что за дерьмо вы тут выдумываете?! Кто это вас такой вонючей информацией снабжает? Если кто-то осужден с лишением права переписки, это только то и означает, что ему не разрешается переписываться, и больше ничего! А вы, гражданка, не слушайте никого! Если у вас посылки принимают, значит ваш муж жив!

Молоденькая дамочка плакать перестала, испуганно и часто кивала Цецилии, как бы говоря: «Да-да, жив, жив, только, пожалуйста, не повышайте голос!» Вторая же, круглолицая, с вызовом закусив папиросу, молча смотрела в сторону; в ней чувствовался враг.

Приблизившиеся несколько женщин обменялись понимающими взглядами. Одна добрая старушка взяла Цецилию под локоть: «Да ты не убивайся, милочка, жив, значит, жив, на

все воля Божия. – Она повернулась к окружающим, взиравшим на разгорячившуюся ученую еврейку, и пояснила: – У ей посылки не принимают, вот какое дело».

Цецилия отдернула руку, еще более возмущенная: значит, ее уже заметили завсегда и этих очередей, значит, уже знают, что... Ах, какой позор уже в самой общности с этими обывательницами, какой позор!

– Если вас не извещают о смерти родственника, значит он жив! – выкрикнула она, все еще пытаясь держать апломб. – Есть закон, есть порядок, и не надо распространять вредные сплетни!

Через несколько часов, пройдя все переулочные изгибы, она вышла под сень километровой тюремной стены, в самом начале которой наклеен был плакат с огромным кулаком, занесенным над рогатой фашистской каской. Большие черные буквы доносили до народа уверенное сталинское изречение: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

«Сколько силы всегда чувствуется в его словах, – думала Цецилия. – Какая весомость! Какое было бы счастье, если бы дело Кирилла когда-нибудь дошло до него, и он отменил бы позорный приговор, и мы вместе с моим любимым отправились бы на фронт, где и Митенька наш уже сражается, и защищали бы Родину, социализм!»

Висевший над стеной репродуктор пел, как в мирное время: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля!» Дело между тем шло не к рассвету, а к закату, за стеной было совсем темно, женщины изнемогали. Цецилию подташнивало от голода: как всегда, она забыла прихватить с собой что-нибудь съестное, и, как всегда, нашелся кто-то добрый, предложил ей печенья. На этот раз это была та самая злобная круглолицая баба в берете. Развернув Цецилино любимое «Земляничное», протянула на открытой ладони: «Ешьте!»

Цецилия взяла один за другим три ломтика дивного рассыпчатого продукта, с неловкой благодарностью взглянула на женщину:

– Вы уж извините, может быть, я слишком погорячилась, но...

Женщина отмахнулась от извинений:

– Да я понимаю, у всех нервы... берите еще печенья. Курить хотите?

Цецилия вдруг поняла, что знает эту особу, что она вроде бы даже принадлежит к ее «кругу».

– А у вас, простите, муж тут?..

– Ну разумеется, я – Румянцева, вы же меня знаете, Циля.

Цецилия ахнула. И в самом деле: Надя Румянцева из расформированного Института красной профессуры! А муж ее был видным теоретиком, ну как же, Румянцев Петр, кажется, Васильевич. Его еще называли «в кругах» – Громокипящий Петр! Пережевывая остатки «Земляничного», Цецилия поймала себя по крайней мере на трех грехах: во-первых, вступила в контакт с очередью, хоть и зарекалась никогда этого не делать; во-вторых, подумала о Петре Румянцеве не как о враге народа, а просто как об очень порядочном теоретике марксизма-ленинизма; в-третьих, подумала о нем в очень далеком прошедшем времени, «был», как будто вошедший под эти своды уже не вполне и существует, а значит, и он, ее любимый, ее единственный свет в окне, ее мальчик, как она всегда его мысленно называла, тоже не вполне существует, если не...

К окошку она подошла совсем незадолго до закрытия. Там сидела женская особь в гимнастерке с лейтенантскими петлицами.

– Фамилия! Имя! Отчество! Статья! Срок! – прогаркала она с полнейшим автоматизмом.

– Градов Кирилл Борисович, 58–8 и 11, десять лет, – трепеща пробормотала Цецилия, просовывая в окошко свой кулек.

– Громче! – гаркнула чекистка.

Она повторила громче любимое имя с омерзительным наростом контрреволюционной статьи. Чекистка захлопнула окошко: так полагалось, чтобы не видели, каким образом производится проверка. Потянулись секунды агонии. Меньше чем через минуту окошко открылось, кулек был выброшен обратно.

– Ваша посылка принята быть не может!

– Как же так?! – вскричала Цецилия. Белая кожа ее немедленно вспыхнула, веснушки придали пожару дополнительно будто потрескивающего огня. – Почему?! Что с моим мужем?! Умоляю вас, товарищ!

– Никакой информацией не располагаю. Наводите справки, где положено. Не задерживайтесь, гражданка! Следующий! – бесстрастно и привычно прогаркала чекистка.

Цецилия совсем потеряла голову, продолжала выкрикивать что-то совсем уже не подходящее к моменту:

– Как же так?! Мой муж вообще ни в чем не виноват! Он скоро будет освобожден! Пойдет на фронт! Я протестую! Бездушный формализм!

– Проходите, гражданка! Не задерживайте других! – вдруг резко, со злостью прокричал сзади голос молодой женщины, что рыдала утром по поводу «осуждения без права переписки». Очередь зашумела, сзади надавливали. Цецилия совсем уже потеряла голову, схватилась за полку перед окошком, пыталась удержаться, визжала:

– Он жив! Жив! Все равно он жив! Назло вам всем!

На шум подошел один из двух дежуривших у дверей брюхатых сержантов, ухватил шумящую еврейку за оба плеча, рванул, оттащил от окна.

Было уже совсем темно, когда Надежда Румянцева выбралась из тюремной приемной, и тоже ни с чем, вернее, с тем же, с чем пришла, – с пакетом продуктов для мужа.

Проклиная про себя «коммунистическую сволочь» (вчерашняя комсомолка, став жертвой режима, и не заметила, как быстро докатилась до белогвардейских словечек), она потащила к трамвайной остановке и вдруг увидела в маленьком скверике сидящую на скамье, расплывшуюся в полной прострации Цилю Розенблюм. На коленях у нее были листки, покрытые расплывшимся чернильным карандашом, – единственное за все время письмо, пришедшее от Кирилла.

Надя присела рядом. Она почему-то сочувствовала этой «оголтелой марксистке» (опять какое-то антисоветское выражение выплывает неизвестно откуда), хотя и обижалась, что при прежних встречах в очереди у Лефортово та ее в упор не замечала.

– Ты еще счастливая, – вздохнула она, – тебе пишут.

Цецилия вздрогнула, взглянула на Надю и вдруг уткнулась ей, малознакомой женщине, в плечо.

– Это еще в тридцать девятом, – бормотала она. – Единственное письмо. Одни общие фразы.

Надя повторила: «Ты еще счастливая», хотя и слукавила, она от «своего» получила за три года все-таки три письма. Неожиданно для себя самой она погладила Цецилию по волосам. Откуда эти телячьи нежности? Обнявшись, обе женщины в охотку зарыдали.

– Почему они не принимают посылки, Надя? – спросила потом Цецилия.

Румянцева привычно оглянулась, в те времена оглядывался любой советский человек, перед тем как произнести более или менее энергичную фразу.

– Эх, Циля, может быть, просто не знают, где эти люди. Не удивлюсь, если у них там такой же бардак, как везде.

Они поднялись и тяжело поплелись к трамваю, словно две старухи, хоть и были еще вполне молодыми здоровыми бабами. Не говоря уже обо всем прочем, система полностью переломала их половую жизнь.

– Война все изменит, – проговорила Надя. – Им придется пересмотреть свое отношение к народу.

– Может быть, ты права, – сказала Цецилия. – И первое, что мы должны пересмотреть, это отношение к партийным кадрам.

Они говорили уже совсем дружески и не замечали, что одна называет их «они», а другая – «мы».

– А тех, «без права переписки», всех шлепнули, – сказала Надя.

– Неужели это правда? – еле слышно прошептала Цецилия, потом заговорила громче: – Прости мою вспышку, Надя. Нервы на пределе. Однако у Кирилла ведь не было этой формулировки в приговоре, и вот видишь, все-таки... письмо...

– Да-да, все будет хорошо, Циля, – ободрила ее новая подруга.

Они завернули за угол, и тут прямо им по макушкам из какого-то низкого открытого окна заговорило радио: «От Советского Информбюро. На Смоленском направлении идут ожесточенные бои. Потери противника в живой силе и технике растут...»

– Слышишь?! – панически воскликнула Цецилия. – Смоленское направление! Они подходят! Что с нами будет?

Новое московское небо с аэростатами и лучами прожекторов диким контрастом стояло над захолустной Лефортовской слободой. Старый Кукуй в ужасе съежился перед подходом соплеменников.

Глава II

Ночные фейерверки

За десять с лишком лет, что прошли с нашего первого появления на Белорусском вокзале, он основательно изменился, не в том смысле, разумеется, что ушла куда-то его псевдорусско-прусская архитектура или испарился прокопченный стеклянный свод, роднящий его с семьей великих европейских вокзалов, а в том, что вместо мирной, хотя и основательно милитаризированной, атмосферы 1930 года, в которую мы даже умудрились вплести завитушку любовной интриги, мы оказались сейчас в августе сорок первого, на перевалочном пункте войны, на базе отправки к фронту и эвакуации из горящих западных областей.

Как раз к тому моменту, когда уцелевшие Градовы съехались на проводы всемирно любимого Саввы, на дальний путь прибыл поезд из Смоленска, в составе которого несколько вагонов представляли собой лишь выгоревшие остовы. Сомнений не было – поезд с беженцами попал по дороге под бомбежку немецкой авиации. Бледные лица беженцев и раненых красноармейцев, заполнившие все проемы окон в уцелевших вагонах, медленно проплывали вдоль перрона, словно экспозиция старинной живописи, однако и в обуглившись вагонах, на площадках, и среди руин купе шевелились люди, создавая совсем уже призрачное впечатление.

Перроны и залы ожидания вокзала пребывали в непрерывном кашеобразном движении, будто некий повар пошевеливал человеческое месиво невидимым черпаком: напирали с мешками, разваливались по кафелю вперемежку с содержимым мешков, вскакивали и неслись, пробирались с кипятком, мочились в углах, потому что проникнуть всем желающим в туалеты было невозможно. Военные патрули замахивались прикладами, пробивая себе дорогу. Гвалт, бабы вопли, рыдания, детский визг, неразборчивые приказы по громкоговорителю...

Градовы после тишины и безлюдья Серебряного Бора чувствовали себя ошарашенными. Одна лишь Нина как будто не замечала ничего, весело, влюбленно подтрунивала над своим облаченным в мешковатую форму со свежими майорскими петличками мужем.

– Посмотрите на Савку, – звывала она. – Ну, каков?! С каким небрежным щегольством он носит свой изысканный мундир! Я и не подозревала, что выхожу замуж за кавалергарда!

Военврач III ранга Китайгородский старался подыгрывать веселому настроению жены: выпячивал грудь, подправлял воображаемый ус, прохаживался вдоль вагона «кавалергардовской» пружинистой походочкой, потряхивая длинными ляжками, побрякивал воображаемыми шпорами. Семилетняя Ёлка самозабвенно хохотала над вечным комиком папкой. Остальные недоуменно молчали.

Нина, все еще очень подвижная, очень молодая в свои тридцать четыре – с некоторого расстояния, ну, скажем, метров с пятнадцати, вообще сходила за девчонку, – пританцовывала вокруг мужа, теребила его гимнастерку:

– И все-таки чего-то еще не хватает, не все продумано! Нет аксельбантов, например!

– Все мы плевали на ваши аксельбанты давным-давно, давным-давно! – басом пел в ответ Савва строчку песни из популярной пьесы. На душе у него, очевидно, кошки скребли, но он понимал из Нинкиной буффонады, что ей еще хуже, и продолжал ей подыгрывать. Подхватывал под руку, жарко шептал на ушко: «Вы обмишулились, милочка, приняв гусара за кавалергарда, боевого коня за обозную лошадь!»

В конце концов всех рассмешили. Даже Мэри Вахтанговна, у которой все чаще стало появляться на лице выражение застывшей трагедии, улыбнулась. «Экое паясничество перед разлукой, – подумала она. – Странно. Нет, я их не понимаю, но, может быть, так легче?..»

Она еще не успела опомниться после ухода Мити, как вдруг Савва позвонил и сказал, что уезжает на фронт: назначен главным хирургом дивизионного, то есть полевого, госпиталя.

Даже и глава семьи, даже Борис, несмотря на свои годы, а ведь ему уже шестьдесят шесть исполнилось, теперь непосредственно связан с войной, выдвинут снова, как в двадцатые, в прямое руководство медицинской службой вооруженных сил, получил звание генерал-майора. Непрерывно на совещаниях и в разъездах, инспектирует медицинское обеспечение фронтов. Она его почти не видит, никто его почти не видит. Вот и сейчас, обещал приехать на вокзал проститься с Саввой, однако до сих пор не появился, а поезд уже может отойти в любую минуту.

Поезд и на самом деле мог отойти в любую минуту, но похоже было и на то, что он может отойти и через несколько часов, а может быть, и совсем не отойти. Савва уже гнал своих с вокзала, однако они упорно не уходили, топтались на перроне, сопротивляясь порывам толпы. И его собственные старенькие родители, мать с отчимом, чудом уцелевшие осколки прошлого, филологи-серебряновековцы, если только можно сказать об осколках чего-то вдребезги разбитого, что они уцелели, и Мэри, и непотопляемый дредноут градовского семейного уюта Агаша, и Борис IV, мужественный подросток, глядящий на него чистейшими, явно отцовскими и дедовскими, градовскими глазами, выражающий всей своей чрезвычайно крепенькой, ладной фигурой могучее подростковое желание уехать вместе и в то же время строго держащий за руку младшую сестру Верулю, в чьих глазах закавказская мягкая ночь нашла себе пристанище, – трогательная, ей-ей, парочка «сирот» при живых, запряганных в лагеря родителей, и совершенно уже невозможная, полностью уже в репертуаре «комической старухи», хотя ведь ей всего тридцать семь, Цилька Розенблюм со своим чрезвычайно позитивным папашей Наумом – все не уходило, толкалось вокруг. Господи, как Савва их всех любил и как за всех боялся, экое жалкое и трогательное сборище человеческого рода! Все уже порядком истомилось на перроне, уже не знали, о чем говорить и как выражать свои чувства отъезжающему, одна лишь Нинка все теребила своего Савку, то увлекала его в сторону, и там со смехом они шептались, то возвращала обществу и продолжала шутить над «кавалергардом». Чем дальше, тем больше в ее шутках начинали проскальзывать ниточки отчаяния.

– Ну, идите, разъезжайтесь уж наконец! – взывал Савва. – Я устал, пойду в купе и лягу. Доступ к телу прекращается!

Никто, однако, не уходил. Мэри Вахтанговна тем более заявляла, что с минуты на минуту подъедет Борис.

Глава семьи вдруг появился – очень оживленный, в шинели с генеральскими отворотами, в сопровождении адъютанта. Он шел уверенным, бодрым шагом, толпа расступалась при виде авторитетной фигуры медицинского генерала. Мэри Вахтанговна не узнавала своего мужа: с началом войны Борис Никитич радикальнейшим образом переменялся, пропал грустно увядающий, философски настроенный профессор, появился энергичный, с огоньком в глазах, вечно в несколько приподнятом настроении деятель обороны.

– Ну, где тут наш военврач? – возгласил Градов.

– Здравья желаю, ваше высокопревосходительство! – гаркнул, вытягиваясь, Савва.

Они обнялись, потом отстранились, любовно друг друга оглядывая.

– На рысях на большие дела! – восхитилась Нина.

Вдруг пробежало вдоль поезда несколько увесистых красноармейцев, выскочил железнодорожник с перекошенной щекой: «Через пять минут отправляемся!»

Нина тогда молча бросилась к мужу, обхватила его шею, вцепилась в него всем телом, будто требуя немедленной любви. Все смущенно полуотвернулись. Разлука подступала.

Строгий юноша Борис IV между тем досадовал: так и не удалось задать Савве несколько важных вопросов. Смогут ли новые формирования остановить группу армий «Центр»? Почему бездействуют наши парашютно-десантные части? Правда ли, что танк Т-34 не знает себе равных в мире, и когда, по мнению Саввы, можно ожидать его развертывания на театре военных действий? И главное, почему мы так быстро отступаем, отдаем город за городом? Быть может, осуществляется стратегия сродни кутузовской в 1812 году – заманить захватчика вглубь

страны, растянуть коммуникации, а потом огромным потоком ударить с фланга? На все эти вопросы лучше всего ответил бы отец, но его нет, «припухает», как говорят пацаны с трамвайного кольца, в лагерях вместо того, чтобы вести войну. Дядя Савва, впрочем, тоже вполне серьезный собеседник, с ним не раз они обсуждали вопросы мировой военной стратегии, однако Нинка – Боря, не отступая от семейной традиции, называл тетку в уменьшительном ключе – не дает к нему даже приблизиться.

Вдруг без всяких дальнейших предупреждений, без звонка и без гудка поезд тронулся. Савва в панике оторвал от себя жену, бросился к вагону, еле успел в куче комсостава уцепиться за поручни, прыгнул, повис, ноги поволоклись, хрясь, зацепился за чью-то ногу, подтянулся. Часть комсостава, к счастью, всосалась, Савва спешил закрепиться на подножке, чтобы хотя бы успеть оглянуться, еще раз, в последний раз увидеть родные лица, лицо любимой; у него было сильнейшее ощущение, что именно в этот момент он вкатывает в другой мир, еще миг – и железная крышка захлопнется над его молодостью... хотя бы поймать еще несколько бликов... Он обернулся, поезд уже приближался к концу перрона, кто-то рядом бежал, размахивая руками, в щеку рядом дышали перегаром... вдруг мелькнуло лицо юнца с горящими глазами, да ведь это же Борька... кого же он тащит за руку, да, это она... как я тебе благодарен за все... волосы упали на глаза... каждый миг с тобой буду вспоминать до конца, все, начиная с серебряноборских мелких, подернутых льдом лужиц... твою холодную ладонь, первое прикосновение... еще бежит, глаз не видно, горький рот... пятно лица пропадает и снова мелькает из-за голов... сладостный рот в горькой гримасе... прощай!

– Пошли в купе, – сказал капитан-артиллерист. – У нас там шесть бутылок водки. Отдохнем напоследок.

Борис Никитич и Мэри Вахтанговна пробирались через зал ожидания на площадь, где их ждал автомобиль. Адъютант шел впереди, прокладывая дорогу. Сзади Агаша тащила за руки Бориса IV и Верулю. Мальчик, шепча проклятия, пытался освободиться, но нянька была неумолима, хотя и делала вид, что это не она его ведет, а он ее, старую и маломощную, да еще и с девочкой, что он тут главный в этой связке – мужчина. В конце концов Боря смирился и обратил свое внимание на окружающий табор. Большинство пожилых людей здесь жевало, как будто боялось, что где-то в неопределенном «там» пожевать уже не придется. Какая-то смоленская с характерным аканьем рассказывала о чем-то ужасном, глаза ее округлились, щеки дрожали. «Воет и падает прямо-таки на нас, ноги-руки отнялись, Господи Иисусе, ка-а-ак грабанеть по крыше, дым, пожар, а сам-ш-таки вверх ушедши, как свечка...» Боря догадался, что речь идет об атаке пикировщиков – «штукас». Неподалеку на полу среди мешков кто-то умудрился развести самовар, там царил безмятежность. Две девчонки Бориного возраста накручивали патефон. Доносилась песенка: «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали? Не прячь гармонь, играй на все лады! Посмотри, как звезды засверкали, как зашумели зеленые сады!» Боря поморщился: песенка, слащавая и как-то странно будоражащая, летела из вчерашнего, так называемого мирного, времени, из пасторалей НКВД, где никто против сволочи не дерется, а все безоговорочно подчиняются. К чертям собачьим такое мирное время! Война вдруг распахнула перед мальчиком огромный новый мир, в котором образ «сволочи» оформился в германского нациста, с которым можно и должно драться, как подобает мужчине! Боря, естественно, дико завидовал своему кузену и ближайшему другу Мите, который уже ушел на фронт (странно, без особого энтузиазма), в то время как он вынужден будет еще столько времени ходить в осточертевшую школу, где все учителя знают, что он сын «врагов народа», и смотрят на него либо с мрачной подозрительностью, либо, что еще хуже, с затаенной слезливостью. Больше всего Боря боялся, что война кончится слишком быстро и он упустит свой шанс.

Дед и бабка Бориса IV, проходя через вокзал, тихо беседовали.

– Ах, Бо, нет уже сил на бесконечные провода, разлуки, аресты... Исчезло из нашей жизни столько любимых – Никитушка, Кирюшка, Викуля, Галактион, Митя, теперь вот Савва... Кто будет завтра? Что останется от нашей семьи?

Борис Никитич вдруг поцеловал старую подругу в щеку, взглянул на нее с некоторой лукавостью:

– А что ты скажешь, Мэри, если вдруг я предложу тебе для разнообразия устроить какую-нибудь встречу вместо проводов?

Изумленная Мэри Вахтанговна приостановилась, приложила руки к щекам:

– Что ты имеешь в виду, Бо? Что за странный шуточный тон у тебя появился в последнее время?

Борис Никитич, по-прежнему с очень веселой миной, хлопнул себя ладонью по рту, потом оба кулака сжал под подбородком, как бы удерживая секрет, с игривостью некоторой поежил плечами:

– Не буду тебе говорить, нет-нет, преждевременно!

– Что это значит?! – вскричала Мэри Вахтанговна. – Тебе что-то важное сказали? Где ты был сегодня? В ЦК, в наркомате?

– Нет-нет, это слишком преждевременно...

– Боже мой, боже мой... – забормотала Мэри Вахтанговна. – Может быть, хоть Вику отпустят?.. Ты прав, прав, Бо, не надо преждевременно...

Она боялась и подумать о сыновьях, допустила в мыслях только Веронику и тут же поймала себя на том, что вот ее-то упомянула, значит, с ней-то все же меньше боится ошибиться, потому что все же она ей меньше дорога, чем свои, родные, что вот ее-то выпустила вперед, вроде как прикрыть, вроде как заложницу своей надежды, устыдилась и совсем замолчала.

Они уже выехали на шоссе к Серебряному Бору, когда небо позади, над Москвой, стало раскалываться огромными вспышками, – сквозь шум мотора донесся гром – еще одна группа бомбардировщиков прорвалась к столице.

Помощник военного атташе Соединенных Штатов Америки, полковник Кевин Тэлавер сквозь щелку в шторе затемнения смотрел на Кремль. Посольство располагалось в солидном с полуколоннами семиэтажном здании советского ампира прямо напротив крепости, через огромную Манежную площадь, бок о бок с много повидавшей на своем веку гостиницей «Националь».

Как обычно, по ночам в Кремле было совсем темно, однако время от времени небо прозрачно озарялось пускаемыми с бомбардировщиков осветительными ракетами, и тогда отчетливо обозначались зубцы стен, проемы бойниц и окон, башни отбрасывали на купола резкие колеблющиеся тени. Тут же вздымалась в небо стена заградительного огня, среди туч разрывались шрапнели. Где-то в отдалении, раскалывая ночь, падала брошенная наугад тяжелая бомба. Немецкие самолеты кружили на большой высоте, зенитки до них не доставали, однако мешали им снизиться для прицельного бомбометания. Немцы, по всем признакам, норовили поразить главные правительственные здания и даже сам идеологический центр коммунистической империи, крепость Кремль. Пока им это не удавалось, бомбовый груз сбрасывался над Москвой вслепую, падал на жилые кварталы. Впрочем, третьего дня, согласно весьма достоверным слухам, одна бомба упала прямо рядом со зданием ЦК ВКП(б) и убила случайно находящегося в этот момент на улице известного драматурга Александра Афиногенова, женатого, как это ни странно, на подданной США.

Тэлавер раскурил трубочку. Осветительная ракета догорала в небе над Китай-городом. Кремль снова погружался в темноту. Где же Сталин? Неужели сидит в крепости и вот так же, как я, сквозь щелку озирает бомбежку? По некоторым сведениям, его давно уже нет в

Москве. Если это так, значит они совсем потеряли надежду отбить столицу. Неужели 1812 год повторяется?

– Послушайте, Тэлавер, отойдите от окна со своей трубкой, – сказал из глубины комнаты Джеффри Пэнн, помощник посла по политическим вопросам.

– Бойтесь, что мой огонек заметит какой-нибудь ас люфтваффе? – усмехнулся полковник.

– Боюсь, что вас заметит патруль с улицы и нам придется тащить свои дринки в бомбоубежище, – хохотнул Пэнн.

Несколько дипломатов и гость, знаменитый журналист Тоунсенд Рестон, коротали время в затемненной гостиной. Единственная слабо светящаяся в углу под кремовым абажуром лампа придавала помещению особый уют осажденного комфортабельного отеля. Этому также способствовала батарея бутылок, сифоны с содовой, ведерко со льдом, словом, то, без чего не завяжешь джентльменского разговора о политической ситуации.

– Ну что, помахал тебе Сталин из своего Кремля, Кевин? – спросил Рестон, когда длинная фигура Тэлавера отошла от окна и приблизилась к маленькому бару, чтобы сделать себе очередной дринок. Они были приятелями еще по Гарварду, не раз пересекались во время той войны, что до недавнего времени именовалась Великой, а нынче, похоже, будет просто «первой», вместе колобродили по Парижу в те первые сумасшедшие послевоенные годы. Потом их дорожки разошлись, и Рестон, добравшись сразу после открытия Восточного фронта до Москвы, очень удивился, найдя в составе посольства Кевина Тэлавера, да к тому же еще и в чине полковника. Оказалось, что тот все эти годы работал в каком-то сугубо теоретическом отделе Пентагона, да к тому же стал большим знатоком Восточной Европы и России, защитил диссертацию по российской истории, овладел русским языком со всеми его жуткими склонениями и наклонениями. Последнее обстоятельство наполнило Рестона черной завистью: в который раз он уже приезжает сюда, русская тема и сделала, собственно говоря, ему имя, а до сих пор не может связать десяти слов в отчетливую фразу. Тэлавер, побрякивая кубиками льда в стакане, приблизился к обществу и сел в глубокое кресло, выпятились вверх донкихотовские колени.

– Сталин пропал, – сказал он. – После той речи третьего июля, после того, хм, библейского обращения к народу – «братья и сестры», видите ли, с того дня о нем ничего не слышно, никто не видел его во внешнем мире. Это ужасно.

– Что же в этом ужасного, Кевин, позволь тебя спросить? – усмехнулся Рестон. – Народ не видит своего дракона, некому приносить жертвы?

– Речь сейчас идет о другом, – возразил Тэлавер. – Так или иначе, дракон оказался лидером этой великой страны, всей русской цивилизации. Для миллионов людей он был символом могущества страны, и вот сейчас, когда страна разваливается, символ исчез. У меня такое ощущение, что он просто празднует труса, боится за свою шкуру. Это трагедия!

– А по мне, так эти «наци» и «больши» – одного поля ягоды. Я их ничуть не жалею, этих «больши», – заскрипел Рестон. – Конечно, народ страдает, но, если в результате развалятся обе преступные шайки, я не заплачу.

– Прости меня, Рест (так они в Гарварде называли его, чтобы не возиться с неудобным Тоунсендом, из которого при сокращении возникал то «город», то «песок»), прости меня, но разница между «наци» и «больши» все-таки есть. Увы, они не могут развалиться одновременно, а «наци» сейчас стоят под Москвой, а не наоборот; в этом и есть разница.

В других креслах в это время дипломаты говорили о катастрофическом положении на фронте. Джеффри Пэнн пересказывал содержание последних сводок, полученных послом. Группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока сконцентрировалась для окончательного штурма Москвы. В ее составе почти два миллиона войск, две тысячи танков, огромное количество артиллерии. Ей противостоят разрозненные и деморализован-

ные паническим отступлением армии русских, в которых нет и половины их штатного состава. Линия фронта фактически отсутствует, многие дивизии попали в «котлы». Немцы не знают, что делать с огромным числом пленных. Ходят слухи о капитуляции целых соединений в полном составе во главе с генералами. В воздухе полное превосходство люфтваффе. Танки красных не выдерживают ни малейшего соприкосновения с немецкими бронированными кулаками. Немцы жгут их сотнями. Поражает оперативная беспомощность советских полководцев. Словом, полный развал. Как бы нам не пришлось, джентльмены, наблюдать парад вермахта прямо под нашими окнами.

Рестон ничего не ответил Тэлаверу. Краем уха он слушал сообщения Пэнна, и ему хотелось подключиться к той, другой группе, где в этот момент проходила главная информация. Кевин же, очевидно, был настроен на рассуждения общего порядка.

– В общем, Рест, должен тебе сказать, что я вовсе не буду в восторге, если над Кремлем вместо полностью красного флага поднимется тоже красный, но с белым кругом и черным пауком в середине, – продолжал Тэлавер. – Помимо всего прочего, я, ты знаешь, никогда не делал секрета из своей любви к России, к ее литературе и истории, и мне вовсе не хочется, чтобы этот народ превратился в стадо «унтерменшей» согласно нацистской доктрине.

– Кевин! – громко обратился тут Джеффри Пэнн. – Это правда, что Сталин за несколько лет до войны уничтожил массу своих генералов?

– Истинная правда, – ответил Тэлавер, но тут поднялся Рестон, обрадованный тем, что беседа вернулась в общее русло.

– Я могу вам рассказать об этом лучше Кевина. В тридцать седьмом году я освещал московские show trials¹.

Он начал говорить о событиях всего лишь четырехгодичной давности, о том, как приехал тогда в Москву и как сначала ничего не мог понять, а потом пришел к простейшей отгадке, стал ее прикладывать ко всем сложным советским ситуациям, и все совместилось. Отгадка состояла в том, что если страной правит банда, то и все неясности надо объяснять простейшей уголовной логикой. Он завладел аудиторией, но в этот момент быстро вошла, едва ли не вбежала секретарша посла Лоренса Стейнхардта миссис Свенсон и принесла сенсационную новость: только что, вообразите, джентльмены, почти в девять часов вечера, послу в его Refuge² звонили из Наркомата иностранных дел и сказали, что в связи с осложнением ситуации на фронте некоторые правительственные учреждения и иностранные посольства могут быть эвакуированы в Куйбышев. Куйбышев, джентльмены, это восемьсот миль к востоку, в заволжских степях, нечто вроде Небраски, но там до сих пор, я полагаю, бродят кочевники. Словом, наркомат предложил нам срочно подготовиться к отправке. Кроме того, прошу меня простить за вторжение в ваш столь уютный «мужской клуб», однако человек из наркомата, его имя, кажется, мистер Царап, настоятельно просил или, если угодно, требовал во время воздушной тревоги спускаться в бомбоубежище. В связи с этим посол хотел бы подчеркнуть обязательность его уже сделанных на этот предмет распоряжений.

– Могу я вам чего-нибудь налить в связи с этим, Лиз? – спросил Джеффри Пэнн, но в это время снова забухали зенитки, совсем близко на этот раз, как будто с крыши «Националя» или со двора университета; даже сквозь плотные шторы затемнения стало заметно, что небо снова озарилось зловещими сполохами.

Дипломаты неохотно вылезали из удобных кресел. Теперь придется торчать несколько часов в подвале, хотя вероятность попадания бомбы на самом деле весьма незначительна. Не более значительная, чем спуск немецких парашютистов на лужайку в Refuge, предположил Джеффри Пэнн. Он, как и многие другие сотрудники посольства, почти открыто высмеивал

¹ Показательные процессы (англ.).

² Загородный дом (англ.).

исключительную дальновидность «нашего адвоката» – так они называли непрофессионального дипломата Стейнхардта. Едва лишь началась война между Германией и Россией, посол немедленно приступил к строительству комфортабельного убежища в сорока километрах от Москвы на реке Клязьме. Практическая деятельность посольства почти заглохла. Посол, очевидно, решил пересидеть смутное время за высоким забором в стиле фортов Дальнего Запада. Если только не спустятся парашютисты, шутили дипломаты. Или не ворвутся индейцы, добавлял кто-нибудь особенно ехидный. Так или иначе, приходилось подчиняться. Кое-кто проявил хорошую предусмотрительность, засунув в карман бутылочку «Johny Walker». Кевин Тэлавер забежал в свой офис, чтобы запастись чтением. Рестон подождал его в коридоре. Тэлавер выскочил со стопкой старых книг под мышкой. Оба они посмотрели друг на друга и подумали одновременно одно и то же: «Этот малый еще совсем неплохо выглядит».

Рестон посмотрел, что за книги тащит с собой в бомбоубежище Тэлавер. Это была в основном поэзия: Пушкин, Тютчев, Элиот...

– Ты – самый странный полковник из всех, кого я встречал в жизни, – улыбнулся Рестон.

– Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, – явно рисуясь, произнес Тэлавер по-русски.

Из всей этой фразы Рестон поймал только слова «мир» и «минуты». Чертов язык!

Они догнали остальных уже на лестнице. Инструкция запрещала во время воздушных тревог пользоваться лифтом. На нижнем этаже Рестон заметил небольшую дверь с надписью «выход». Он приотстал на несколько шагов, а когда вся группа скрылась за поворотом, повернул набалдашник дверной ручки. Дверь совершенно непринужденно открылась, и через мгновение старый авантюрист оказался на улице, вернее, под аркой проезда, соединяющего посольский двор с Манежной площадью.

В первый миг ему показалось, что он вышел не в Москву, а в какой-то не вполне реальный карнавалый город. Небо трепетало сполохами, смешивались стихии воздуха и огня, из полного мрака вдруг, словно на фотобумаге, проявлялись башни Кремля, ревел звуковой шторм, в котором слышались и басы, и дисканты разрушительных средств, временами вдруг посреди урагана возникали паузы полного молчания, и они, как отсутствие чего бы то ни было, поражали еще больше, чем рев.

Рестон старался, чтобы звук его шагов совпал с грохотом и ревом налета, а само продвижение мимо милицейского поста – с моментами мрака. Ему удалось незамеченным выйти из-под арки, пройти мимо затемненного «Националя» и завернуть на улицу Горького. Эту улицу он долго и упорно называл старым именем – Тверская, пока не перевел новое название на английский. С тех пор стал величать главную улицу столицы победившего социализма на свой лад, the Bitter Street – Горькая улица, что звучало, с его точки зрения, вполне уместно.

Рестон любил такие неожиданные отрывы от расписания солидного журналиста с его приемами, коктейлями, запланированными интервью и пресс-конференциями. Именно такие внеординарные моменты, вспышки tout-à-coup, впечатлений, делали его репортажи необычным явлением в журналистике. Сегодняшний спонтанный отрыв просто привел его в восторг. Значит, еще не постарел, черт возьми, если позволяю себе такие штуки, думал он, быстро шагая вверх по Горькой улице. Подошвы его будто летели, мышцы будто звенели от восторга, он будто ждал какой-то волшебной встречи, о которой якобы мечтал всю жизнь, он будто бы к ней с каждым шагом приближался. Возле здания телеграфа к его ногам упала дымящаяся гильза зенитного снаряда.

Вдруг откуда-то прорезался милицейский свисток, потом послышалось: «Стой!», в очередном всполохе мелькнул приближающийся мотоцикл, зажглась фара. Он решил во что бы то ни стало не попадаться и побежал. Иначе опять загонят в бомбоубежище, думал он, не зная, что речь в подобной ситуации – ночь, тревога, налет, патруль, убегающий человек – может пойти совсем о другом, а именно о пуле в спину. Он не знал, что в Москве повсеместно вот

уже несколько недель распространяются призывы к бдительности, что все, даже школьники, высматривают немецких шпионов, которые якобы во время налетов фонариками подают с земли сигналы бомбардировщикам. Рестон этого не знал и убежал от мотоцикла даже с некоторой шаловливостью. Нырнул во двор, забежал в какой-то темный подъезд, увидел, как мотоцикл промчался мимо, и снова выскочил на Горькую. Больше его никто не тревожил, и он спокойно шел несколько минут и даже постоял немного на Пушкинской площади, глядя, как озаряется огнем какая-то высокопарная скульптура – социалистический ангел, парящий на крыше углового дома.

Стрельба зениток усиливалась, лучи прожекторов металась по всему своду небес. На площади Маяковского он вдруг увидел высоко в небе в пересечении лучей медленно плывущие крестики нацистских бомбардировщиков. Разобрать марку машин было невозможно, но он сказал себе, что это «хейнкели» и «дорнье», и быстро черкнул в записной книжке – «хейнкели» и «дорнье». Вдруг где-то, совсем неподалеку, раздался ужасающий удар, немедленно перешедший в грохот развала. Он понял, что эти мирно проплывающие крестики начали сбрасывать свой груз.

Он уже знал, что метро в Москве используется как гражданское бомбоубежище, и быстро пошел к знакомой ему станции «Маяковская».

Какие-то мальчишки в полувоенной одежде, дежурившие в вестибюле, увидев его, бросились, крича: «Ты что, дядя, охерел?», втащили внутрь. Проклятое слово «бомбоубежище» никак не давалось Рестону, но он все-таки его произнес.

– Англичанин тут какой-то охеревший шатается! – крикнул кому-то какой-то из дежурных и подтолкнул Рестона к эскалатору: – Давай, чапай вниз!

Движущаяся лестница, естественно, не работала, и он долго шел пешком, удивляясь глубине шахты. Не исключено, что при постройке в начале тридцатых кто-то уже думал о будущих бомбардировках, предположил Рестон.

Как и всех иностранцев, московское метро поражало Рестона изысканностью своей отделки, в которой сквозь нарождающуюся социалистическую пышность еще кое-где просвечивал ныне совсем уже загнанный русский модернизм. Почему вдруг решили с такой роскошью украсить обыкновенную городскую транспортную систему? Скорее всего, это идея самого Сталина, без него тут ничего не делается, но что все-таки он имел в виду? Быть может, хотел в этих дворцах показать массам черты приближающегося коммунизма? Замечательно, что этот идеальный коммунизм возник изначально все-таки под землей.

Лестница кончалась, выступали из мрака два ряда колонн полированной нержавеющей стали, мраморная облицовка стен, купола с мозаичными панно, в которых-то как раз сквозь радостное социалистическое содержание просвечивал какой-то формализм. Пол станционного зала, запомнившийся Рестону своим геометрическим орнаментом, был не виден, поскольку все его пространство было до последнего квадратного сантиметра покрыто сидящими или лежащими в скорчившихся позах людьми.

Рестон остановился в недоумении, потом попытался, балансируя, продвинуться вперед. Вряд ли в этом храме социализма найдется место для моей задницы, подумалось ему, не садиться же, в самом деле, на людей. Тут как раз его позвали: «Эй, садитесь, гражданин!» Он оглянулся и увидел, что кто-то умудрился подвинуться, освободив ему кусочек пола, достаточный для приземления на половину ягодиц. Опустившись, он подумал, что вряд ли уйдет отсюда без воспаления седалищного нерва. В следующий момент ему стало чертовски неловко, поскольку он увидел, что по-медвежьи привалился боком к какой-то женщине. Еще один момент проскочил, пока Тоунсенд Рестон не сообразил, что ему чертовски повезло: женщина была очаровательна. У нее были густые темные волосы и прозрачные голубые глаза – сочетание, иногда, не часто, встречающееся в Северной Италии. Не там ли он встречал ее? Его не оставляло ощущение, что он уже где-то видел эту женщину. Между тем она сидела словно не

на полу в бомбоубежище, зажатая со всех сторон, а в уютном кресле возле камина. Ноги ее были прикрыты клетчатым пледом. От Рестона не ускользнуло, что их очертания были очень милы. На колене она держала блокнот и время от времени что-то в нем записывала. Уж не на журналистку ли напал старый бандит пера? К левому боку женщины привалилась девочка лет семи, она безмятежно спала, посапывая носиком. Справа, увы, громоздился здоровенный, пропахший трубочным табаком и шотландским виски американец. Она улыбнулась ему ободряюще: устраивайтесь, мол, поудобнее.

– I'm awfully sorry, ma'am, for such an inconvenience³, – пробормотал он.

Она удивленно, если не изумленно, подняла брови. Иностранец?! Здесь?!

– Не хорошо русски, – сказал Рестон. – Est-que vous parlez français, madam?⁴

Оказалось, что она совсем неплохо говорит по-французски, хотя все время смеется над своими спотыканиями и дурным произношением. Мало практики, вернее, полное отсутствие практики. С мужем они иногда в виде шутки болтали по-французски, но он уже вот почти месяц как ушел на фронт. Он военный, ваш муж, мадам? Нет, он врач, хирург, ну и, как вы понимаете, сейчас там большой спрос на хирургов. Ваш французский, мадам, ненамного хуже моего, а я жил в Париже больше двадцати лет. Вы русская? Она улыбнулась: полурусская, полугрузинка.

Задавая этот вопрос, Рестон, как и все американцы, больше имел в виду гражданство, чем происхождение. Собеседница же ответила в типично местном ключе: многонационально-советское гражданство подразумевалось. Грузины – это на юге, вспомнил он, на границе с Турцией. Вот откуда такое замечательное сочетание, Средиземноморье и Север, отголосок Скандинавии – она ведь тоже всегда присутствует на этой равнине, если верить истории.

Простите, мадам, но меня не оставляет ощущение, что мы уже встречались, проговорил он. Из-за сдавленного положения их тел она все время говорила с ним как бы слегка из-за плеча, и эта ее поза уже начинала кружить голову Тоунсенду Рестону. Странно, сказала она, мне тоже кажется, что я вас уже где-то видела, но ведь это невозможно, ведь вы?.. Я американец, но я тут часто бываю. Позвольте представиться, Тоунсенд Рестон. Назвав свое имя, он тут же пожалел, что ставит ее в неловкое, если не сказать страшное, положение. После всех этих ужасов тридцатых годов советские боятся знакомиться с иностранцами, и их, ей-ей, можно понять. Вот и она, как ему показалось, запнулась. Не беспокойтесь, мадам, я все понимаю. Она засмеялась. Вам можно позавидовать, если это так. Я, например, ничего не понимаю. Меня зовут Нина, Нина Градова.

Нина была поражена случайностью этого знакомства. Из тысяч и тысяч людей, спасающихся от бомбежки, словно по произволу романиста, именно к ней прибился возможно единственный на всю эту толпу иностранец, да еще эдакий «Хемингуэй», международный джентльмен, американец из Парижа! Да к тому же, оказывается, он еще и журналист, обозреватель европейских событий для «Chicago Tribune» и «New York Times», добрался сюда через Тегеран на английском самолете, чтобы писать о битве за Москву. Она была почти уверена, что это имя ей встречалось в советских газетах в контексте яростных идеологических контратак. «... Небезызвестный Тоунсенд Рестон со своей привычной антисоветской колокольни» – что-то в этом роде. Ну все, подумала она, меня теперь возьмут сразу на выходе отсюда. Впрочем, на него, кажется, здесь никто не обращает внимания. Война все-таки, бомбы падают на Москву, рушатся дома, гибнут люди, кажется, пора НКВД прекратить охоту на своих, а Америка, возможно, будет нашим союзником в этой войне.

³ Прошу прощения, мадам, за подобные неудобства (англ.).

⁴ Вы говорите по-французски, мадам? (фр.)

Всеобщее внимание в подземелье стала привлекать какая-то малопонятная буча, завалившаяся возле эскалаторов. Там что-то кричали, размахивали руками, куда-то рвались, кого-то сдерживали. Какая-то дикая тревога молниеносно распространялась по гигантскому бомбоубежищу. Может быть, нас завалило, спокойно подумал Рестон. В Испании ему как-то пришлось побывать в подобной ситуации, но, конечно, не на такой глубине. Тревога между тем докатилась и до его собеседницы, она на мгновение закрыла глаза ладонями и что-то быстро беззвучно прошептала, как будто короткую молитву. Рестон ничего не понимал из поднывавшихся вокруг криков, кроме «Спокойно, товарищи!», «Товарищи, без паники!». Все остальное – вроде «Пошел ты на хуй!», «Дай пройти, сука!» – тонуло в общем хаотическом хоре.

– Что случилось, Нина? – спросил он.

– Народ перепуган, – ответила она. – Прошли слухи, что в Москве высаживаются немецкие парашютисты, что город уже частично захвачен...

– Они на самом деле так боятся немцев? – спросил он. Этот вопрос занимал его с самого начала войны на Востоке: боятся ли рядовые русские прихода немцев?

– Ну конечно! – воскликнула она и с удивлением на него посмотрела. Как же, мол, иначе?

– И вы, Нина, тоже? – осторожно спросил он. – Вы тоже думаете, что немцы будут... –

Он все-таки не осмелился завершить свой вопрос.

– А-а, – протянула она, – я понимаю, что вы имеете в виду...

Она задумалась на минуту, потом постаралась худо-бедно перевести четверостишие, что недавно слышала от подвыпившего автора Коли Глазкова: «Господи, вступишь Ты за Советы! Защити ты нас от высших рас, Потому что все Твои заветы Гитлер нарушает чаще нас...»

– Чаще нас... – повторила она.

«Вы в этом уверены?» – хотел было спросить Рестон, но воздержался. Он смотрел на профиль Нины, и его посещали мысли, которые он всю жизнь презрительно отбрасывал, начиная еще со студенческой поры, когда распростился с любовными иллюзиями, мысли, в общем-то полностью неуместные на многометровой глубине в советской столице под нацистской бомбежкой. Я встретил наконец-то свою женщину, думал он. Вот наконец-то, в пятьдесят два года, встретил свою женщину. Вся моя жизнь до нее, с моим холостяцким эгоизмом, со всеми моими привычками, с так называемой свободой, с так называемым сексом, была свинством, потому что в ней не было этой женщины. Мне нужно жить с этой женщиной и вовсе не для секса в первую очередь, а для того, чтобы заботиться о ней. В моей жизни должен быть кто-то, чтобы я о нем заботился, а именно вот эта женщина, Нина с ее дочкой. Нет-нет, пока не поздно, невзирая на все разгорающуюся войну или именно потому, что она сейчас разгорается, я должен все перевернуть в своей пустой и затхлой жизни. Именно она выбросит на помойку все мои дурацкие кастовые и клубные привычки, фетиши, продует, прочистит все эти пустоты, заполнит их своим столь очевидным артистизмом, своей легкой походкой, которую я еще не видел, но могу себе представить по очертаниям ее бедер и голеней под этим клетчатым пледом. Мы с ней и с ее дочкой куда-нибудь сбежим, ну, скажем, в Португалию, на ту полосу побережья к северу от Лиссабона, я буду иногда выезжать в воюющие страны и возвращаться к ней.

Такие, столь несвойственные ему мечты проносились в воображении Тоунсенда Рестона, пока он вдруг не сообразил, что приближается в этом стремительном волшебном плавании к большому подводному камню. Муж, черт возьми! Ведь у нее есть муж, хирург в действующей армии. Почему я так быстро решил, что она предназначена для меня, когда она предназначена для своего мужа? Тут его воображение стали посещать некоторые мерзости. Муж на фронте, под огнем, у него есть большие шансы стать добычей немецкого стрелка. Ну и потом, что такое какой-то русский врачешка по сравнению с известным международным журналистом? Что такое их жалкие московские коммунальные квартиры по сравнению с рестоновским фамильным домом на Саре Сод, не говоря уже о всех возможностях, которые откроет ей мой банковский счет? Вот это уж гадость, оборвал он тут себя. Для нее это все ничего не значит, иначе

она не была бы моей женщиной, а ведь она – это как раз то, о чем я мечтал еще в молодом, столь постыдном романтическом периоде, о котором я всю свою жизнь старался забыть...

Между тем, пока он предавался этим столь неуместным мечтам, в подземной станции нарастало паническое настроение. Вдруг пробежал слух, что немецкие танки прорвались, что уже занято Тушино, что Кремль разбомбили до последнего кирпича, что город весь горит, а какие-то банды разбивают магазины и грабят дома, а какие-то отряды, то ли свои, то ли немецкие, в бомбоубежища пускают газ. Вдруг возникли оглушительные вопли: «Давай на выход! Спасайся, кто может!»

Толпа повскакала на ноги, стала хаотически раскачиваться, то устремляясь к эскалаторам, то останавливаясь перед безнадежной пробкой. Мальчишки пытались пролезть между ног или по головам. Их пинали, стаскивали с плеч. Стоял оглушительный визг, рыдали старухи, то там то сям возникали драки. Людей, казалось, охватил ужас клаустрофобии, ими двигал только ужас, слепое желание выбраться из подземного мешка.

Нину трясло, как в лихорадке, она обхватила за плечи Ёлку, прижала ее к себе и только об одном заботилась – как бы у нее не отбили дочку, как бы не потерять ее в толпе. Она уже и думать забыла о своем приятном соседе и, когда Рестон крикнул ей, чтобы она держалась за ним, глянула на него с таким диким неузнаванием, что он даже отшатнулся. Вдруг, словно кто-то вышиб пробку, толпу понесло. Рестон, как ни старался он быть рядом с Ниной, был выброшен на другую лестницу. Некоторое время он еще видел среди стремящихся наверх голов ее спутавшуюся гривку, потом она пропала. Он еще надеялся найти ее на поверхности и, оказавшись в вестибюле, стал кричать:

– Nina, où êtes-vous?! Répondez, sil vous plait! Répondez donc!⁵

Ничего, однако, он не услышал в ответ. Вскоре, после жесточайшей давки в вестибюле, его вынесло на улицу, и здесь он снова ничего не увидел, кроме мрака, разбегающихся в разные стороны фигур, и ничего не услышал, кроме проклятий и подвывания сирен, и ничего не почувствовал, кроме холодного дождя за воротником, дождя, наполнившего его тоской, отчаянием и стыдом за свои столь странные подземные мечтания, несомненно связанные с началом мужского увядания. Налет, кажется, уже кончился, взрывов больше не было слышно, и вспышек в небе стало меньше, в проходящих сквозь тучи лучах прожекторов появилась некоторая томность.

Он поднял воротник и зашагал вниз по Горькой улице, в сторону посольства.

– Nina, Nina, – бормотал он. – She's an interesting person, isn't she? Should I try to find her? Nina... Gosh, I lost her last name... Nina who?⁶

⁵ Нина, где вы?! Ответьте, пожалуйста! Ответьте же! (*фр.*)

⁶ Нина, Нина. Интересная личность, не так ли? Попытаться найти ее? Нина... О, я забыл ее фамилию... Нина... Как дальше? (*англ.*)

Глава III

Подземный бивуак

Первая волна паники, охватившая Москву, улеглась, но приближалась вторая, сокрушающая, как цунами, ростом в десять этажей, – запомнившееся потом надолго 16 октября 1941 года. В промежутке между этими волнами, в сравнительно спокойную ночь, наше повествование снова приблизилось к станции метро «Площадь Маяковского».

На этот раз все подходы к ней были перекрыты военными патрулями. Москвичей, привычно уже направлявшихся туда на ночевку, заворачивали. «Граждане, станция „Маяковская“ сегодня закрыта. Используйте другие бомбоубежища». Ну, не иначе как взрыв какой-нибудь, думали москвичи, прорыв воды или канализации.

Станция между тем была в полном порядке, больше того, сияла в ту ночь пугающей чистотой. Медленно и надежно скатывалась вниз одна из лестниц эскалатора. Тускло, но ровно горели на лестнице фонари, похожие на чаши языческого храма. Привычно, как в мирное время, светились надписи: «Стойте справа, проходите слева!», «Держитесь за перила», названия станций – «Белорусская», «Динамо», «Аэропорт», «Сокол», «Площадь Свердлова», пересадка на «Охотный Ряд», «Библиотека им. Ленина», «Дворец Советов», «Парк культуры им. Горького».

Вскоре после полуночи к станции подъехало несколько кургузых бронированных автомобилей командующих фронтами и сопровождающего состава. Из машин вышли и направились внутрь командующий Западным фронтом Жуков, командующий Брянским фронтом Еременко, генералы Конев, Лелюшенко, Говоров, Акимов.

Жуков шел впереди, низкий, кривоногий, кожаное пальто обтягивало мощный зад, вислые плечи, в стеклянных дверях метро мелькнуло отражение мрачных фортификаций его лица. Генералы поехали вниз. Царила полная тишина, только ритмично, чуть-чуть постукивал механизм эскалатора.

Весь орнамент гранитного пола был на этот раз чист и матово светился под тусклыми плафонами. В огромном отдалении станции смутно различался белый бюст. Думал ли когда-нибудь «красивый, двадцатидвухлетний», в желтой кофте и с моноклем в глазу, что обернется божком в подземном народном капище?

Генералы медленно прогуливались под стальными колоннами. Никто не разговаривал. Жуков по-прежнему держался чуть впереди группы. Иногда он поднимал левую руку, правой отгибал рукав кожана и смотрел на светящиеся часы. Тогда и другие генералы поглядывали на свои часы. Прошло не менее десяти минут, прежде чем в тоннеле со стороны центра послышался несильный шум приближающегося поезда. Медленно выехал из тоннеля и остановился вдоль платформы обычный пассажирский поезд с пустыми или почти пустыми вагонами. В одном из таких почти пустых вагонов сидели члены Политбюро ЦК ВКП(б) Молотов, Каганович, Ворошилов, Берия, Хрушев... Вместе с ними прибыл большой, как ломовик, маршал Тимошенко Семен Константинович. Генералам, которые давно уже не пользовались городским транспортом, способ прибытия вождей к месту встречи не показался чем-то уж очень-то экстравагантным, адъютанты же были поражены несопоставимостью понятий: обычный поезд метро, а в нем мифические «портреты»!

Открылись пневматические двери. Жуков сумрачно смотрел на выходящих. Сталина среди них опять не было. Не удержавшись, он произнес вслух: «Товарища Сталина опять нет...» Еременко молча на него покосился. В случае появления Сталина Жуков собирался командовать «смирно» и затем от имени всех присутствующих отчеканить шаг и отрапортовать о явке по всей форме. Жуков, только что назначенный главкомом Западного фронта, всеми

признавался старшим. Теперь он не командовал «смирно», и все генералы остались в произвольных позах.

Сейчас у них на физиономиях появятся отеческие улыбки, с отвращением подумал Жуков. Вот чего я не переношу, это их отеческих улыбок. «Гадь», – подумал он вдруг, неожиданно для себя самого, и взял под козырек, вполне, впрочем, небрежно, отнюдь не по форме.

– Командование Западным и Брянским фронтами по приказанию Политбюро ВКП(б) прибыло, – сказал он опять же без всякого теплого чувства к народным кумирам. «В мирное время за один этот тон я бы полетел вверх тормашками, – мелькнуло в мыслях. – Сейчас, впрочем, война. Сейчас я им нужен больше, чем они мне».

Отеческих улыбок на этот раз не наблюдалось. Молотов пожал ему руку:

– Давайте, товарищи, сразу приступим к делу!

Он прошел вперед, в глубину зала, где уже, неизвестно откуда, появился большой длинный стол для совещаний, две дюжины стульев, переносные лампы, стенды с военными картами.

Все расселись. Молотов и Жуков смотрели через стол друг на друга, два сильно укрепленных каменных лица, эмоции даже в щелочки не проблескивали.

– Товарищ Сталин просил передать вам горячий привет, товарищи генералы, – сказал Молотов. – Он следит за каждым моментом в развитии ситуации и готовит ключевую встречу Совета Оборона с командующими фронтами и армий. Пока что мы должны решить текущие оперативные задачи.

«Врет, скотина», – подумал Жуков. Ни одна складка на его лице не изменила общей твердокаменной диспозиции. «Почему даже нам не говорят, что на самом деле происходит со Сталиным? Может быть, он давно уже сидит в Куйбышеве? „Текущие оперативные задачи“, экий пустяк! Тогда зачем назначать совещание в метро? Зачем темнить даже с теми, с кем совсем не надо темнить? От этих „оперативных задач“ сейчас зависит все. Сбежать не удастся никому».

– Георгий Константинович, члены Политбюро хотели бы, чтобы вы доложили обстановку, – сказал Ворошилов.

Жуков чуть повернул голову к нему. «И этот болван хитрит, – подумал он. – Доложи, мол, им, я-то, мол, и сам все знаю. А кто видел тебя на фронте, „первый красный офицер“?» Он кивнул, встал и четкими шагами подошел к одной из карт. Ему показалось, что по членам Политбюро прошел какой-то алюминиевый шелест: карта, к которой подошел Жуков, представляла не центральные области, а попросту Подмосковье, то есть ближайшие подступы. Слепо отсвечивающее пенсне Берии следовало за его указкой. Указка уперлась в Можайск.

– После захвата Калуги танки Гудериана выходят на Можайск, – начал говорить Жуков с полным бесстрашием, как будто на лекции в военной академии. – В районе Малоярославца нам удалось собрать группу войск из состава Сорок третьей армии. В нее входят сто десятая стрелковая дивизия, семнадцатая танковая бригада, Подольское пехотное и Подольское пулеметно-артиллерийское училища, два батальона запасного полка. Здесь мы еще держимся, хотя моральное состояние войск оставляет желать лучшего. Солдаты деморализованы бесконечными налетами пикировщиков «штукас».

У Кагановича при этих словах на мгновение приподнялись брови, чуть выехали вперед маленькие усики-подносники, столь модные в тридцатые годы среди руководителей европейских государств. Движение волосистых частей лица выражало бы даже комическое удивление, если бы не тяжелый, как рельса, взгляд «железного наркома». Чем он был недоволен, завывающими «штукас», вертикально падающими на наших покинутых «сталинскими соколами» ванько`в, а потом, оставив за собой смертоносный подол взрывчатки и свинца, резко уходящими вверх, или старорежимным словом «солдаты», которое командующий употребил вместо милых сердцу коммуниста, оваянных славой революции «красноармейцев»?

Жуков сказал еще несколько слов о подавляющем превосходстве немцев в воздухе. Может быть, они уже знают об этом, как знает каждый солдат на фронте и миллионы людей в оккупированной зоне, а может быть, и не знают, тогда будет полезно узнать.

Он продолжал огорчать вождей дальнейшими откровенностями, деталями, до которых государственные мужи могли не дойти среди грандиозных задач. Наши танки не выдерживают ни малейшей встречи с немецкими «Марками-III», не говоря уже о «Марке-IV». «Тридцать-четверок» пока очень мало, КВ мы вообще не видим на фронте. Это замечание было прямым пинком в зад Ворошилову: танк КВ (Клим Ворошилов) был, разумеется, его любимым детищем. Самое же ужасное состоит в резкой нехватке кадрового командного состава. Недостаточная подготовка, полное отсутствие боевого опыта у многих командиров приводят к бесчисленным неверным решениям на уровне полка и выше и, в совокупности с прочими факторами, к развалу фронта, образованию «котлов», актам массовой капитуляции, к прямой измене.

«Как разговорился человек, – думал Берия, глядя на малоприятного русского мужика в генеральской одежде. – Как сильно разговорился. Вот вам война, как разговорились люди».

– Я вас правильно понял, товарищ Жуков, что главный вопрос состоит в том, как остановить танки Гудериана? – спросил он.

Жуков повернулся к отсвечивающему пенсне. Ему хотелось усмехнуться прямо в эти страшные стеклышки, но он, вообще-то, не очень умел усмехаться. «Главный вопрос сейчас стоит не перед нами, а перед Гудерианом, – подумал он. – Хватит ли у него горючего еще на две недели, чтобы взять Москву?» Как военный, Жуков понимал, что в принципе остановить немцев под Москвой может только неудачное для них стечение обстоятельств, какой-то их собственный просчет, но уж никак не сопротивление дезорганизованной Красной Армии. Он этого, однако, не сказал, иначе немедленно зачислили бы в «пораженцы», а то и еще черт знает какой лапши навешали бы на уши, как в тридцать седьмом.

– Говоря о тактической диспозиции, товарищ Берия, – сказал он, – мы должны уметь влезть в шкуру противника и вообразить, какие перед ним стоят трудности. А трудности у него есть, в частности, очень растянутые коммуникации...

Жуков еще говорил некоторое время и показывал указкой как бы с точки зрения генерал-фельдмаршала фон Бока, пока не понял, что этим он нагнал на вождей еще большего страха.

– В общем, товарищи, положение у нас очень серьезное, если не сказать отчаянное. – Он положил указку, вернулся, отстучав шесть раз сапогами по плитам, к столу, сел и добавил: – Но все ж таки пока еще не безнадежное.

Минуту или две царило молчание. Члены Политбюро, как всегда, боялись друг друга. Тимошенко вообще, казалось, жабу проглотил, сидел Собакевичем. Генералы тоже опасались друг друга и боялись членов Политбюро. Каждый, однако, чувствовал, что этот «внутренний» страх все-таки несколько ослабел благодаря страху «внешнему», приближению безжалостного врага извне, который плевать хотел на все их византийские интриги и тонкости кремледворства и просто одним ударом уничтожит их всех, со всей советской Византией.

– А что же народное ополчение? – спросил Каганович. – Может оно сыграть какую-нибудь роль?

Генералы переглянулись. Народное ополчение, тысячи необученных «шпаков» с одной винтовкой на десятерых, лучше бы перестали губить людей и смешить немцев.

– Это несерьезно! – вдруг по-солдатски рубанул генерал-полковник Конев. – Бородинской битвы нам организовать на этот раз не удастся.

Вожди сидели насупившись. Даже если бы и удалось устроить новое Бородино, оно при всей своей исторической славе мало их устраивало, ибо привело – хочешь не хочешь – к падению Москвы, что все-таки тогда, в восемьсот двенадцатом, было не так страшно, потому что

правительство-то сидело в Петербурге и ему ничего не угрожало, а сейчас угроза направлена прямо на них, на высочайшее правительство!

Жуков вдруг почувствовал прилив какого-то мрачного вдохновения. Может быть, упоминание Бородина было тому причиной, а может быть, все, что накопилось за последние недели, все унижения перед чужеземной силой и дикое желание отворотить неотвратимое, но он вдруг отбросил все околичности, через которые всегда приходилось пробираться на встречах с высшими партийцами, решил взять все совещание в свои руки и заговорил почти диктаторским тоном:

– Времени у нас осталось очень мало. Перегруппировывать войска под непрерывным ураганным огнем невозможно. Единственное, чем можно реально остановить бегство и капитуляцию, это заградительные батальоны за линией фронта. И они должны действовать беспощадно.

В этом месте речи главкома Берия одобрительно наклонил голову.

Жуков продолжал:

– Необходимо как можно быстрее обеспечить подход свежих соединений с Урала и из Сибири. Однако для организации этих соединений в боеспособные части, как, впрочем, и для всей последующей кампании, мы должны резко, я подчеркиваю, одномоментно увеличить число высших и средних кадровых командиров. И я прошу об этом немедленно доложить товарищу Сталину.

Вожди сразу поняли, о чем идет речь, тут же углубились в свои папочки с какими-то бумажками, один только Ворошилов воскликнул с присущей ему дешевой театральностью:

– Но как мы можем это сделать одномоментно, Георгий?!

Жуков не улыбочиво посмотрел на него. Никогда не поймешь этого человека, актерствует или дураковствует. Может быть, это его и спасало все эти годы?

– Ну, об этом вы должны знать лучше, чем я, Климент Ефремович!

До Ворошилова, кажется, дошло, он приоткрыл было рот как бы в изумлении, как будто ему и в голову никогда не мог прийти этот странный фактор ошеломляющих поражений Красной Армии, однако тут же рот закрыл и тоже углубился в пустую папочку.

Молотов вдруг разомкнул глиняные уста:

– Что ж, товарищ Жуков, мы непременно доложим о ваших соображениях товарищу Сталину. Со своей стороны я хочу сказать, что в таких чрезвычайных обстоятельствах возможны самые экстраординарные меры. Сейчас решается судьба всего социализма.

Жуков кивнул. Опять же без всяких эмоций, одна лишь железобетонная определенность, последняя линия обороны.

– Рад, что вы меня поняли, товарищи. Решается судьба всего нашего отечества.

Совещание продолжалось еще часа два, если еще можно было отсчитать бег минут в этом замкнутом пространстве, плывущем в глухих глубинах русской земли. Сторонний наблюдатель, скажем автор романа, подивился бы смещению эпох, явленному в этом пятне сумрака среди моря мрака. Округлая римская античность со слепыми глазами представала перед нами в голове и плечах Лаврентия Берии. Генералитет представлял бивуак извечного российского солдафонства на уровне фельдфебелей. Молотов и Ворошилов являли собой типы гоголевских комедий. «Железному наркомому» и впрямь как бы предполагалось в кожаном фартуке раннего капитализма высунуться из-за кулис с кувалдой в руках. И над всем этим собранием высилась на постаменте голова футуриста, и вздымались к еще различимым куполам стальные колонны советской утопии, и только лишь временами казалось, что сквозь все толщи земли и бетона сюда проникают и начинают неслышно парить над столом валькирии германского социализма. Чувствуя их присутствие, вожди Политбюро временами млели от ужаса.

Антракт I. ПРЕССА

«Нью-Йорк таймс», 12 июня 1941 г.

Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, правительство Бельгии, временное правительство Чехословакии, правительства Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Югославии, представители генерала де Голля, лидера свободных французов, вместе вовлеченные в борьбу против агрессии, пришли к заключению, что они будут продолжать сопротивление германской и итальянской агрессии до победного конца...

20 июня 1941 г.

Бывший посланник Джон Кудай пишет о своей встрече с Гитлером. У диктатора был диспептический вид, выдающий напряжение и предельную усталость. Волосы его быстро седеют. Поражает бледность лица и безжизненность рук.

«Тайм», 20 июня 1941 г.

Итальянские газеты напечатали высказывание Бенито Муссолини: «Эта война приобретает характер войны двух миров».

Мы видим, что тоталитарный мир организуется для решительной битвы, и Россия будет его неотъемлемой частью, несмотря на появляющиеся сообщения о том, что Гитлер выкручивает Сталину руки...

30 июня 1941 г.

Пока остальная Россия, припав к своим пушкам, ждала завоевателя с Запада, ученые на Востоке, в Самарканде, проникли в гробницу самого могущественного завоевателя всех времен Тамерлана Великого. Под трехтонной мраморной глыбой и под еще двумя грубыми глыбами гранита был обнаружен гроб, в котором лежал император в своих расшитых золотом одеждах. За исключением головы, скелет хорошо сохранился. Ученые подтвердили догадку филологов: правая нога завоевателя была короче левой...

7 июля 1941 г.

Наш корреспондент в Токио после путешествия через Россию сообщает: шесть недель назад бородатый крестьянин-колхозник в деревне неподалеку от Москвы сказал мне: «Когда же наконец немцы придут навести порядок?»

14 июля 1941 г.

Финны вздыхают, что снаряды русских пожгли сосновые леса вокруг Ханко – их любимое место отдыха в летнее время...

Румыны, хоть и зачарованные перспективой что-нибудь стащить у России, очень обеспокоены высадкой советских парашютистов на нефтяных полях Плоешти. «Железная гвардия» ответила на высадку истреблением 500 «еврейских коммунистов»...

К количеству потерь обе стороны относятся небрежно. Немцы сообщили, что лишили русских 600 тысяч солдат. Русские на следующий день, чтобы не отстать, объявили об уничтожении 700 тысяч немцев. Немцы немедленно подняли число до 800 тысяч. Русские ответили на это – 900 тысяч.

В центре Мадрида стоит статуя Нептуна с трезубцем. Кто-то из вечно голодных испанцев повесил на нее плакат: «Дайте хоть что-нибудь поесть или заберите вилку!»

«Дейли Миррор», 20 июля 1941 г.

Если и был такой человек, кто поднял стартовый пистолет и возвестил начало новой мировой войны, то этим человеком был товарищ И. Сталин... Как бы нам обойтись без этого лицемера?..

«Телеграф», август 1941 г.

Женские брюки впервые появились в большевистской России... Снобы на летних курортах Британии и США нашли эту моду привлекательной и придали ей блеск... Это еще один пример того, как много общего между коммунизмом и плутократией...

Германское агентство печати DNB

Линия Сталина прорвана в нескольких местах. Советские войска отступают в полном смятении, руководство не способно восстановить порядок...

Совинформбюро

Результаты первых трех недель войны свидетельствуют о несомненном провале гитлеровских планов блицкрига...

«Тайм»

...Многое свидетельствует о том, что как немцы, так и русские лгут...

Сталин доверил Ленинград Климентию Ворошилову, Москву Семену Тимошенко, Киев Семену Буденному...

Немецкие войска гордо объявили о захвате мамонтоподобного 120-тонного танка «Слава Сталину». Гигант развивал скорость 6 км в час...

Антракт II. КОМНАТНАЯ МАГНОЛИЯ

Фикус презирал (с тем же успехом можно сказать «презирала») соседствующий с ним горшок герани. Ну, разумеется, не сам горшок, а куст, произрастающий из горшка. Герань казалась (казался) ему (ей) бездуховной, бессмысленной тварью. Он не получал от нее никаких сигналов. Иногда он поворачивал свои жесткие листья ребром к ней. Все напрасно, никакого ответа. От комода с вышивками и то больше пользы. Оба растения стояли у окна в квартире стрелка Колымагина, что в Петровской слободе. На подоконнике им соседствовала гнуснейшая слизистая плюха в трехлитровой банке, именуемая «гриб». Этот занят был лишь одним – продуцированием сомнительного «сока» на опохмел Колымагину. Фикус вообще отвергал существование «гриба», как отвергали его родственные души Палеологи залетающих в окна дворца мух с магометанского базара.

Фикус научился смотреть в окно поверх гриба и видеть там то, что ему почти всегда нравилось: кирпичную дорожку к калитке с выломанной доской, два ведра вверх дном на заборе, цинковое корыто с замоченными тряпками, бочку с песком для унылых противопожарных целей, зеленые помидоры, вечной недозрелостью согнувшие свои увядшие стебли, проскальзывающих грязненьких мышек – всю эту атмосферу юдоли, заброшенности срединной земли, на которой в некие веки неизвестно почему вдруг возгорелся великолепный ствол огня и произошло слияние двух его начал – предтропического и предполярного, то есть греков и варягов.

Первое вспоминалось в закатные вечера, когда случалось редкое в Москве явление и горизонт на западе оказывался чист. Тогда вдруг нечто весьма отдаленное выплывало: мрачная гордость царевны, всеми оставленной у монастырского окошечка в ожидании кинжала,

потом шаги по булыжникам въезда, закат, отсвечивающий в кирасе любимого, вернувшегося с победой из-под Азова. Или с поражением, какая печаль? Важно, что перехватывает под титьками, забывается царство, лишь бы распахнуться перед Рюриковичем, лишь бы продолжить род. Освободи, князь! Ведь не сохнуть же моим византийским чреслам в монастырской келье, ведь не обращаться же при жизни в бесплодную комнатную магнолию, сиречь фикус.

Варяжское же начало растения, естественно, ликовало при виде первого снега, покрывающего дорожку и забор, и открывшейся после падения листьев плоской шапки потешного дворца.

– Эхма! – восклицал обычно в эти часы стрелок Колымагин и, хоть совал в горшок к подножию бывшей магнолии свою сигарку, все же был любим, напоминал каких-то выплывающих из-под снегопада отцов или дядьев, иногда даже и с татарским резвым прищуром.

– Вы бы прекратили совать в растения свой гнусный «Прибой», – проговорила хозяйка, словно прошелестела сухая саранча.

– Жаль, нам не разрешают брать домой табельное оружие, – ответил стрелок Колымагин. – Бля буду, прикончил бы тебя, бляху!

– С вас станется, урод, алкоголик! – свистела саранча.

– Бля буду, запалю твою хибару! – рычал Колымагин, загоня хозяйку в угол, выкручивая ей руки и ноги. – Партбилет положу, а покончу с хавирой!

Однажды дом и впрямь полыхнул, а вместе с ним и комнатная магнолия. Слияние предтропического и предполярного лишило ее способности плодоносить, однако она (он) мог (могла) великолепно сгорать.

Весь дом трещал, вопили кошки, на пределе возможностей, то есть как электропила, звенела саранча, жизнерадостно ухал, как маршал Чойбалсан, Колымагин.

Листья фикуса сначала пожелтели, потом скукожились, наконец – вспыхнули! Рядом вдруг взвился малым столбиком к потолку пожар герани. Тут вдруг фикус услышал ее сигнал.

– Неужели ты и сейчас не слышишь, не слышишь, не слышишь? – отчаянно зывала герань.

– Ах, это ты! – наконец догадался фикус и окончательно возгорелся.

Глава IV

Сухой паек

В двух сотнях километров от Магадана вверх по колымской трассе стояла уже зима. Никита Градов, в очередной, третий за сегодняшнее утро раз вытаскивая тачку с рудой из штрека, вдруг поразился сильному солнечному свету. Подъем и выход на работу в полной темноте не предвещали ничего, кроме обычного мутного, пуржистого, пронизывающе холодного, сугубо тюремного колымского дня, и вдруг на третьей ходке с верхнего уровня карьера открылись рафинадные дали «чудной планеты», густые и синие, как оберточная бумага, тени, таежная щетина распадков, огромное небо первобытной земли. Под таким небом, если отвлечься от омерзительного зрелища каторжного карьера, можно было забыть о человеческой истории, то есть почувствовать себя свободным. Никита на мгновение задержался на горбушке холма словно для того, чтобы переменить руки, и глубоко вдохнул морозного воздуха. Если меня еще посещают такие мысли, значит еще держусь, подумал он. С некоторых пор он стал себя наблюдать как бы со стороны, к любому проявлению своей личности и своего тела прикладывая эту формулу: «если еще... значит еще...». Лагерный опыт научил его пуще всего страшиться того момента, когда ломается это «еще» и человек начинает стремительно превращаться в «фитиля». Как-то раз во время санитарного дня на общей помывке он поймал в мутном стекле в коридорчике помывочного барака отражение юношеской фигуры со впалым животом, прямыми угловатыми плечами, выпирающими костями узкого таза и лишь с некоторым опозданием понял, что это он сам и есть, столь странно помолодевший. Сорокаоднолетний бывший комкор выглядел двадцатилетним солдатом, из-под кожи исчезли малейшие воспоминания о «социалистических наполнениях», полностью выявилась славно задуманная при рождении фигура. Зрелище это отнюдь его не обрадовало, но испугало. Он уже знал, что эта неожиданная молодость проглядывает только из мрака грязных стекол, что она хрупка, как замороженная насквозь сухая ветка, что вечный изнуряющий голод и непроходящая усталость в какой-то момент приведут к слому и быстрому скату на самое дно, где и осуществится излюбленное напутствие чекистских следователей: «Сотрешься в лагерную пыль!» Поэтому и наблюдал за собой, каждый раз примеряя эковскую формулу «если – еще – значит – еще». Если еще иной раз посещали его на нарах эротические сны, видения ласкающей Вероники и он просыпался в разгар волшебного напряжения и извержения, значит еще жив. Если хватало воли утром выскочить из барака, сбросить телогрейку, растереться снегом, значит еще жив. Если после смены возле печурки вместо того, чтобы бухнуться и отключиться, влезал в спор досужих философов о полном кризисе позитивизма, значит еще и на самом деле жив и значит все это нужно настойчиво делать: грезить о Веронике, даже просто мастурбировать, дронить, обтираться снегом, растягиваться, даже делать стойку на руках, отстаивать наследственную градовскую позитивистскую философию. Нередко, однако, посещала его и конечная, как он ее называл, мысль: зачем тянуть, выхода отсюда нет, перестать наконец вертухаться, молодости твоей совсем ненадолго осталось. Это уже подступало доходяжничество. Он в ужасе встряхивался, начинал дышать, раздувая живот, зажимая то одну ноздрю, то другую, пропуская по незримым канальчикам тела струйку космической энергии по индийской буддистской системе. Этому дыханию его научил сосед по нарам, учитель-харьковчанин, как раз и схлопотавший свою десятку за приверженность к «идеалистическим учениям Востока и попытку дезориентировать советскую молодежь». Никита был уверен, что система помогает, и, конечно, говорил себе: «Если еще дышу пранаямой, значит еще жив».

В этих попытках самосохранения Никита почему-то преисполнился странной сухости по отношению к семье. Он старался отгонять от себя тепло серебряноборского дома, лица роди-

телей, сестры, детей, няньки... Даже во сне пытался эту память о невозвратном тепле отгонять, и это удавалось, Серебряный Бор исчезал, лишь прыгала взад-вперед какая-то толстая мужиковатая белка.

Он знал, вернее, почти знал, что жена арестована. В одном из писем, дошедших до него года два назад уже сюда, в колымский лагерь, Мэри написала: «Веронике пришлось нас неожиданно оставить, испариться в неизвестном направлении. Бабочка и Веруля с нами, они здоровы». Разумеется, это было сообщение об аресте, но он, вместо того чтобы полностью осознать ужас пребывания его нежной девочки в чекистской преисподней, вот в таком хотя бы бараке, в карьере, за тачкой, тщательно эти мысли отодвигал, зато допускал другие, почти абсурдные: а может быть, просто мужичок какой-нибудь подвернулся, может быть, какой-нибудь артист ее увез или летчик-полярник... Ревность тогда мощно встряхивала его, и он не без удовлетворения замечал: «Ну, если еще ревную, значит еще держусь».

В бараке знали, что идет война, но не представляли ее характера и размаха. В начале, когда первые слухи только просочились, Никиту как военного специалиста нередко спрашивали, скоро ли падет Берлин. Он разводил руками: если за эти годы, что я был в узилище, не удалось добиться какого-то кардинального подъема военной технологии, о взятии Берлина не может быть и речи. Линия фронта, скорее всего, проходит где-то в середине Польши, и Красной Армии стоит немалых трудов ее держать. Война между Германией и СССР может тянуться неопределенное время в зависимости от отношений со странами Антанты. Скорее всего, Сталин и Гитлер завершат все это дело перемирием, долгими переговорами, а потом, возможно, хоть это и парадоксально звучит, товарищи, договором о сотрудничестве. В спецконтингенте особо опасных государственных преступников, к которому принадлежал Никита уже два года после того, как его этапировали на Колыму из внутренней тюрьмы, изоляция от внешнего мира была одной из главных привилегий. Сюда, в небольшую замкнутую систему, глухо известную под наводящим ужас именем Зеленлаг, даже новенькие зэки не поступали, поэтому здесь ничего не знали ни о том, что договор между Гитлером и Сталиным был заключен еще в 1939 году, что новые союзники немедленно поделили Польшу, что началась война на Западе и рухнула Франция, и наконец только из каких-то обрывочных реплик охраны стало ясно, что идет война на западных границах.

Недавно произошла сенсация. Сосед Никиты с нижних нар, в прошлом крупный работник Коминтерна Зем-Тедецкий, будучи в санчасти, умудрился спрятать под фуфайку и пронести в барак клочок грязной газеты. Отчаянный польский еврей буквально рисковал жизнью ради политической любознательности. Ходили слухи, что Аристов, начальник управления Зеленлага, лично расправляется с нарушителями режима, и вот как раз за кражу какого-то журнала на прииске «Серебряный» вывел зэка за зону и шлепнул из браунинга, как в овечьи славой годы Гражданской войны. Так или иначе, после смены у печурки в кругу самых надежных людей газетенку расчистили, расправили и вдруг в красноватом мерцающем свете увидели сообщение Совинформбюро о боях на Смоленском направлении. Да неужели это возможно? «Непобедимая и легендарная» отступает? И вся Белоруссия уже отдана, и половина Украины, и вся Прибалтика уже под немцами, и Ленинград под угрозой? «Белоруссия – родная, Украина – золотая! Ваше счастье молодое мы своими штыками отстоим...» Так вот что означал обрывок этой песни, долетевший как-то раз в зону Зеленлага из репродуктора в общей зоне!

Никита ушел тогда от печурки и лег на свое место лицом в потолок, обросший грязным барачным снегом и льдом, почему-то желтым, словно и там на него мочились. Мелькавшие в сводке имена военачальников ничего ему не говорили, за исключением, возможно, только командира мотострелковой дивизии генерал-майора Колесника, с этим, кажется, встречались на учениях штабов, он был чьим-то адъютантом, уж не Гамарника ли? Значит, все, чему он столько лет посвятил, работая в Западном военном округе, пошло вразнос, разлетелось вдребезги, если немцы уже под Смоленском, а то еще, чего доброго – газета-то старая, – уже и за

Смоленском? Он долго лежал, пытаясь настроить себя на военный лад, вообразить свое собственное поведение в дни такого страшного нашествия, представить себя в штабе фронта или на передовой – во главе дивизии, полка, роты, увидеть себя хоть рядовым бойцом под немецким огнем, но ничего не получалось. Все заволакивалось дикой, будто бы внутриклеточной усталостью, равнодушием, а главное, опустошающим голодом, мыслями о нескольких корочках хлеба, которые удалось во время обеда стащить со стола раздачи и припрятать под подкладкой бушлата. Он страстно мечтал только об одном: накрыться бушлатом с головой и немедленно сожрать эти сладостные, даже, кажется, хрустящие на вид корочки, хотя давал себе слово проявить волю, сохранить их до утра, съесть перед выходом в карьер. Да зачем, зачем проявлять волю, зачем тянуть, зачем держать «человеческий облик», почему, в конце концов, не начать вылизывать тарелки, как это делают «фитили»? Что переменит война в нашей жизни? Немцы до Колымы все равно не дойдут, героически погибнуть за родину на поле брани не удастся.

Вокруг горячими шепотками поперек и вдоль нар дискутировали знатоки мировой политики, бывшие теоретики и практики мирового коммунизма. Никита молчал, к нему не обращались, как бы проявляя такт, как бы понимая страдания командира РККА в этот роковой час. Все эти люди вокруг него были настоящими, как он их про себя называл, «выживленцами». Выжить – это была их основная задача, не упустить ни малейшей возможности поддержать тело и дух, которые были им нужны для каких-то будущих задач. Если попадалась где-нибудь под ноги веточка стланика, немедленно все прожевывалось до последней ниточки вместе с иголками и корой – так в организм попадали бесценные витамины. Чрезвычайно полезными считались картофельные очистки, которые иной раз удавалось подцепить на задах столового барака. Клубешок же подгнившего сырого картофеля считался подарком судьбы, он давал заряд, почитай, на целую неделю. Кто-то придумал пить собственную мочу: она не только поддерживает тонус, но и исцеляет многие лагерные болезни. Некоторые так страстно уверовали в мочу, что стали даже считать, что теперь им все нипочем. Никита тоже начал пить собственную мочу, когда на ногах у него появились язвы, и, кажется, действительно помогло, язвы сошли. В этот же разряд «выживательных мер», сохранения «человеческого облика» входили и бесконечные разговоры о политике, перетряхивания всех предыдущих партийных съездов, оппозиций, групп и платформ, международных договоров и интриг, сочинение всевозможнейших гео- и внутривнутриполитических гипотез. Вот и сейчас он был уверен: горячность, с которой обсуждался газетный клочок, была в основном направлена на ту же самую формулу: «Если – я – еще – значит – я – еще».

Между тем он лежал и с отчаянием думал не о войне, а о своем равнодушии к ней. В конце концов снова из тупичков сознания выплыло спасительное: «Если я еще с отчаянием думаю о своем равнодушии, значит я еще не равнодушен, значит еще жив». Он накрылся с головой бушлатом, сжевал цинготными зубами свои корочки и забылся беспросветным сном. Никакие видения его уже во сне не посещали, все его железы молчали, будто проникала и инкрустировала его изнутри страшная колымская вечная мерзлота. В тот день, начиная третью ходку, он уже чувствовал себя безнадежно усталым, разбитым, почти полностью устраненным с лица земли, даже и с этого лица, обезображенного диким разрезом карьера. Зэки один за другим толкали вверх на волю из наклонного штрека тачки с породой, на мгновение выкатывались на бугорок, откуда мелькал им в лица окружающий мир, и сразу же начинали мучительный спуск на дно карьера, где раскорякой стояла безобразная драга, которая сама почему-то не копала, но дико редела, грохотала и свистела, перерабатывая породу: вот ее-то и должны были питать своими тачками зэки Зеленлага.

Если уж я так устаю на третьей ходке, уныло подумал Никита, но не додумал: солнце вдруг брызнуло в лицо, распахнулся простор, воздух вошел в грудь и на мгновение встряхнул весь его смерзающийся состав; усталость отлетела. «Если – я – еще – значит – я – еще...» Задерживаться на горбушке холма было нельзя, сзади подталкивали, и он начал спуск, но все-

таки в другом уже настроении, с надеждой снова увидеть солнце на обратном пути в штрек, а потом опять и опять, до заката, и ночь, когда упадет, будет иной, не крошечной, как обычно, а со звездами, может быть, и с луной, так и пройдет сегодня вся смена, все тридцать четыре ходки, может быть, и вытяну, может быть... А если я еще думаю «может быть», значит я еще...

На повороте дороги, в самом крутом месте, где надо было что есть силы держать тачку, не дать ей покатиться и опрокинуться, чтобы не потерять права на хлебную пайку, стояли два мордатых вохровца в нагольных тулупах. Они рассматривали номера на груди эков и сверялись с каким-то списком.

– Проверяют кадры, – сказал за спиной Зем-Тедецкий. – Кадры в период реконструкции решают все.

– Эй, Градов, стой! – вдруг сказал вохровец. – Бросай тачку! Кругом – марш!

Один вохровец отправился вниз, а другой повесил на плечо свое «ружжо» и пошел вслед за эком Градовым, Л-148395.

Потрясенный таким неожиданным поворотом, то есть сломом всего своего уклада, попросту ошеломленный нарушением монотона ходок, Никита шел теперь навстречу полным тачкам, чуть сбоку от тачек пустых, но без тачки. Иные из эков бросали на него удивленные взгляды, большинство не обращало внимания, поглощенное своими «выживательными» процессами.

– Давай живей! Шевели ногами! – рявкнул сзади вохровец.

Поднялись на бугор. Солнце ударило в лицо так резко, что он даже чуть отшатнулся. Ноги сами заворачивали к черной дыре штрека.

– Возьми левее! – крикнул конвоир.

– Куда ведешь, начальник? – спросил Никита на эковский лад.

– Заткнись, ебенамать! Возьми левее! – гаркнул вохровец.

Никита почувствовал, что он снял винтовку с плеча и взял ее наперевес. Все было в стиле Зеленлага, за исключением этой неожиданной прогулки по узкой тропе посреди сверкающих сугробов.

Через четверть часа они подошли к административному зданию лагеря, оштукатуренному бараку с настоящими окнами, за стеклами – чудо из чудес! – видны были женские лица обслуги, тоже, разумеется, из эчек. Возле крыльца стоял военный вездеход, а на перилах крыльца, явно наслаждаясь солнцем, сидели два армейских командира. Начальник лагеря, да-да, сам всесильный майор Аристов, разговаривал с ними, улыбаясь, смеясь, явно стараясь понравиться. Армейские его еле слушали, а если и взглядывали иногда, то с нескрываемым пренебрежением, хоть и были оба в лейтенантских чинах.

– Вот этот? – Один из лейтенантов ткнул большим пальцем в сторону приближающегося Никиты. Второй только слегка присвистнул, видимо впечатленный внешним видом особо опасного врага народа.

На крыльце рядом с голенищем майорского сапога Никита увидел свой собранный и завязанный сидор.

«Меня куда-то увозят. Очевидно, пересмотр дела и расстрел, – подумал он и не испугался. – Однако почему же военные, а не чекисты? Что ж, вполне резонно. Судил меня военный трибунал, вот военные теперь и увозят на пересмотр дела, чтобы расстрелять опасного врага в связи с военным положением». Вдруг настроение у него от этих мыслей странным образом резко взмыло, он даже как-то вдохновился – солнце, искрящийся снег, армейцы, расстрел! – все лучше, чем медленное, день за днем, вытекание жизни, срастание с вечной мерзлотой.

– Садитесь в машину! – скомандовал ему один из лейтенантов.

– Куда меня везут? – спросил Никита.

Предстоящий расстрел наполнил его впервые со дня водворения в Зеленлаге какой-то как бы прежней гордостью.

– Садись, садись, Градов! Или тебе неохота с нашего курорта уезжать?! – хохотнул Аристов.

– Вам позже объяснят, – безучастным солдафонским, но все-таки отнюдь не чекистским тоном сказал второй лейтенант.

Он сел впереди с водителем, а Никита поместился на заднем сиденье рядом с первым лейтенантом. По дороге тот временами кривил нос и отворачивался от зэка. Классовая неприязнь, что ли, подумал Никита, а потом догадался, что это просто вонь, что от него очень противно воняет бараком и краснощекому, наодеколоненному с утра лейтенанту трудно это переносить.

Машина долго шла по извилистой узкой дороге вдоль распадка; в одном месте, на перевале, где сильный ветер намел сугробы, забуксовала. Лейтенанты тогда вылезли, стали толкать, Никита предложил свою помощь, его резко оборвали. Вскоре после этого эпизода выехали на большую дорогу, по которой шли колоннами грузовики. Это была пресловутая Колымская трасса, построенная почти буквально на костях зэков и тянущаяся на север от Магадана почти на тысячу километров.

У Никиты кружилась голова, он то и дело закрывал глаза: зрелище мнимой свободной дороги было для него слишком сильным впечатлением. Вскоре, однако, они свернули с трассы на боковую дорогу, идущую по дну распадка между безжизненных, лишь подернутых стланиковым наростом сопков. Потом распадок стал расширяться, проехали какую-то небольшую зону со сторожевыми вышками и колючей проволокой, потом несколько разбросанных барачных и щитовых домишек поселочка и вдруг выехали на поле маленького аэродрома, где и встали.

Находившийся на аэродроме единственный самолет ТВ-2 немедленно по их появлении начал раскручивать три своих пропеллера. Никиту выгрузили из вездехода и повели к самолету. Сидор на плече казался ему тяжелее тачки. Восторг развивающейся невероятной перемены почти лишил его сил. Он ни о чем не думал, а только жадно, ртом, ловил то ли воздух, то ли минуты этой перемены, будто стараясь испить все до конца и ничего не забыть.

В самолете легчик, весь в коже с мехом и в меховых унтах, бросил ему огромные ватные штаны, две фуфайки, тулуп, валенки, меховую шапку.

– Облачайтесь! – крикнул он. – Иначе, – он хохотнул, – не довезем.

Моторы уже гудели вовсю. Самолет начал вырывать к взлетной дорожке. Никита сидел в углу на мешках, он был совсем один в просторном фюзеляже с двумя маленькими квадратными оконцами. Он знал эти самолеты, которые еще при нем стали списывать из состава бомбардировочной авиации и переводить на транспорт. Через несколько минут летчик снова вышел из пилотской кабины и протянул Никите какой-то объемистый пакет:

– Приказано передать вам сухой паек. – Отдельно от пакета он протянул консервный нож и ложку. – А вам приказано кушать. – Извлек какую-то ведомость и огрызок карандаша. – Вот, распишитесь в получении.

После этого он оставил Никиту наедине с сухим пайком, ушел в кабину, и тут же самолет рванул вперед, пронесся мимо домишек и щетинистых щек распадка и оторвался от земли. И тут перед зэком Л-148395 открылись откровения сухого пайка: палка копченой колбасы, коробок тушенки, коробок шпротов, кусок сыра голландского, пачка масла, банка сгущенного молока, банка грушевого компота, две плитки шоколада «Север», большая черствая булкахала, три пачки ванильных сухарей. Все таинства любви, война и тюрьма были забыты, только сейчас сильнейшее впечатление жизни развернулось перед ним на мешковине в виде сухого пайка командного состава ВВС.

Почти в беспомощности он схватил, стал ломать и засовывать в рот куски шоколада с обрывками обертки, одновременно влезая ложкой в масло, заедая, стало быть, шоколад маслом. Потом он рвал зубами твердую и неслыханно, умопомрачительно вкусную колбасу, обламывал и запихивал в рот куски сыра, халы, возвращаясь к шоколаду, к маслу, пока все уже

окончательно не смешалось у него во рту в сладко-соленую, жирно-сырную массу еды, толчками идущую по потрясенному пищеводу вниз к ошеломленному, истекающему соком и мелкими гастритными кровотечениями желудку. Очень скоро он уничтожил все, кроме консервов. Он хотел было уже взяться за консервный нож и продолжить пир, но на это не было сил: дурман сверхъестественной сытости овладел им. Самолет бухался в воздушные ямы, а бывший комкор Никита Градов рушился в провалы сознания, лишь изредка выплывая в дребезжащую металл, ревушую тремя моторами сферу. В эти моменты он пытался спрятать в свой сидор банки с тушенкой, шпроты, компот, талдычил себе под нос: «Там не дадут, там больше не будет», развязывал тесемочки, слабо копошился, матерился, стонал, боролся с тошнотой, пока окончательно не вырубился из всей полетной ситуации.

Летчик, вышедший на него посмотреть, вернулся в кабину с шуткой: «Четвертый движок у нас появился, храпит пассажир, что твой „юнкерс“». Экипажу не сказали, кого им предстоит перевезти с Колымы на «материк», но летчики, конечно, догадывались, что важную личность, то ли врага, то ли героя, но, скорее всего, все-таки гада. Если по внешнему виду судить, то, конечно, уж фашиста везем на суд народов. Не хотелось бы такого во сне увидеть; наяву еще ничего, но во сне не надо.

За час до приземления Никита проснулся от жесточайших болей в желудке. Казалось, кто-то комком колючей проволоки рвет ему внутренности. Он попытался встать и рухнул с мешков на дюралевый пол, с воем покатился в хвост самолета. Из рта хлестнули струи желудочного сока, перемешанного с кровью и непереваренными деликатесами.

На военной базе возле Николаевска-на-Амуре его вытащили из самолета в бессознательном состоянии.

– Ну и дела, – скребли себе затылки летчики, – а говорят, от жратвы еще никто не умер...

– Идиоты! – сказал им военврач. – Разве можно голодающему давать столько еды, если не хочешь его убить?

– А мы-то что, – возразили летчики. – Нам сказали, мы сделали. – И пошли, расстроенные, по домам: они уже успели проникнуться симпатией к своему жутковатому грузу.

Все-таки он не умер, а, напротив, за неделю в военном госпитале на куриных бульонах и рисовой каше, на уколах глюкозы с витаминами полностью пришел в себя и окреп.

Он лежал в отдельном боксе на чистых простынях. За окном на обледенелых ветках елей под дурным ноябрьским ветром раскачивались вороны. Для чего они так со мной возятся, гадал он. Может быть, готовится какой-нибудь пропагандистский процесс военных вредителей, чтобы оправдать поражения на фронте? Приговаривать к расстрелу надо все-таки не лагерного доходягу, а здорового цветущего врага, это логично.

Каждое утро санитар приносил ему «Известия» и «Красную звезду». Иногда ему казалось, что кто-то аккуратно следит за тем, чтобы он был в курсе событий. Превосходно умея читать газеты с их набором околичностей, недоговорок, двусмысленных словесных штампов, Никита без труда понял, что положение на фронте отчаянное, что не сегодня завтра может произойти катастрофа и падет Москва. Впервые его стала задевать военная диспозиция. Он попросил карандаш и стал делать на полях газеты кое-какие тактические выкладки. Усилия советского командования были похожи на тришкин кафтан. Мысль о входе Гитлера в Москву вдруг показалась ему невыносимой.

Станным образом почти не вспоминался ему Зеленлаг, и только иногда в кошмарной дребедени сна, в которой собрались, казалось, все страхи его жизни, включая и кронштадтских матросиков, возникало монотонное движение тачки, бесконечно знакомая тропа, спуск в карьер, повторение, повторение, повторение, будто в жизни и смысла-то нет никакого, кроме повторения, будто он жил уже миллион жизней и в каждой из них вот так же тяжело поворачивалось колесо тачки.

Вдруг он заметил, что взгляд его следует за изгибами спины затянутой в белый халатик медсестры Таси. Однажды она будто почувствовала это и глянула внимательным глазом через плечо. В этот момент его вдруг протрясло неукротимое желание и без всяких уже «если – я – еще – значит – я – еще», а просто лишь жажда немедленных и самых активных действий, вот именно: сорвать с нее все, поднять ей ноги, раздвинуть рукой ее лепестки, войти, протрястись, исторгнуть... Тася после этого обмена взглядами стала приходить в бокс с помощницей.

Майор медицинской службы Гуревич ежедневно после осмотра садился на краешек постели и заводил философские разговоры, называя его Никитой Борисовичем.

– Вот иногда странные мысли посещают, Никита Борисович. Вы знаете, я убежденный материалист, но, если мы призываем человека к самопожертвованию, разве это не отголоски идеализма?

– Что мне предстоит, Михаил Яковлевич? – спрашивал его Никита.

Майор пожимал плечами:

– Сие не в нашей компетенции...

Вдруг однажды он пришел утром очень озабоченный, быстро проверил температуру, кровяное давление, прочитал свежие анализы и сказал:

– Поздравляю, Никита Борисович, вы в прекрасной форме, и сегодня, а именно вот прямо сейчас, мы с вами прощаемся.

В коридоре за стеклянной дверью уже маячила командирская фуражка. «Ну вот и все, – подумал Никита. – Моя история завершается. Мучить себя больше не дам, подпишу все и на процессе скажу все, что требуется. Наше сопротивление для них ничего не стоит, равным счетом ничего».

Прямо поверх больничной пижамы на него набросили тот же самый самолетный тулуп, посадили в эмку. Стекла у нее были не завешены, и он смог рассмотреть небольшой поселок и окружающие сопки. Тайга здесь была не чета колымской, огромные ели и лиственницы мифической ратью уходили в поднебесье, в туман.

Поездка длилась недолго, минут через пятнадцать они подъехали к маленькому коттеджу, который, если бы не подмокшая штукатурка противного розового цвета, мог показаться предметом альпийской идиллии. Внутри было сильно натоплено, царил гостиничный уют с ковровыми дорожками, плюшевыми занавесками, неизменным «Буреломом» на стене, здоровенным радиоприемником. Сопровождавший лейтенант щелкнул каблуками, взял под козырек и удалился. Открылась дверь в соседнюю комнату, и на ее пороге появилась не кто иная, как медсестра Тася. На этот раз она была не в белом халате, а в шелковой кофточке, очень привлекательно облежавшей ее плечи и грудь.

– Вам надо переодеться, товарищ генерал-лейтенант, – нежнейшим, женственнейшим голосом произнесла она. За ее спиной он увидел спальню с широкой кроватью, лежащую на кровати военную форму с генеральскими петлицами и тремя привинченными его орденами, а также стоящие возле кровати высокие хромовые сапоги.

Так и не поняв до конца, что происходит, и не задавая никаких вопросов, он бросился в спальню, схватил Тасю, стал с нее все снимать, терпения не хватило, повалил ее в задранной юбочке на кровать.

На этот раз телесный пир не доставил ему страданий, как в случае с сухим пайком, если не считать того, что от долго не проходящей и все возобновляющейся жажды он довольно сильно растер себе член.

Остаток дня он провел в сладчайшем плену Тасиных забот, она постригла ему волосы, побрила щеки, облачила в первоклассное трикотажное белье, галифе и китель тонкого сукна, спела несколько мелодичных украинских песен. Молодая женщина явно владела всеми способами обихаживания мужчин.

– А у нас сегодня гость к ужину, товарищ генерал-лейтенант, – наконец сказала она лукаво. – Нет-нет, не спрашивайте, будет сюрприз.

Гостем оказался генерал-майор Шершавый Константин Владимирович, которого Никита знал еще как Коку-со-штаба со времен службы в Белоруссии. В те времена тот был добрым малым, непременно участником командирских пьянок, гитаристом, знатоком минского и витебского женского контингента – словом, известным типом российского гусара, выскочившим на поверхность даже и в рядах пролетарского воинства. Теперь – заматерел, стал брыласт, под кителем катаются не только плечевые мускулы, но и перекаты боковиков, этой верхней задницы; глаза, впрочем, остались все те же, дружеские, веселенько-сальненькие; в общем, невзирая на высокий чин, все тот же я перед вами, Кока-со-штаба!

Прямо от дверей он бросился с открытыми объятиями, обхватил Никитину все еще зеленлаговскую тощую спину, разбросал мокрые поцелуи по всему Никитиному лицу – в щеку, в ухо, в глаз, наконец, прямо в губы от имени лейб-гвардии краснознаменного гусарского коммунистического!

– Никитушка, ты снова с нами! Вот счастье-то, вот радость для всей армии! Ведь ты же всегда украшением нашим был, любимцем кадрового состава! Мы же все просто зубами скрипели, когда тебя... Я лично зубами скрипел: ну, думаю, это уж чистая ошибка, уважаемые! Потом и меня загребли...

– Ты что, тоже сидел? – спросил Никита. Кого угодно, но только не Костю Шершавого он мог себе представить в арестантском бушлате.

– А как же! – радостно воскликнул тот. – Меня в тридцать девятом загребли, я тогда на Кавказе служил, у нас там всех подчистили до уровня комбатов. Да что ты, Никита, я ж всего полгода как с Интауголь!

За столом, подняв чуть не до люстры стаканище коньяку, Шершавый провозгласил тост:

– Пью за возвращение легендарного командира Никиты Градова в кадровый состав Красной Армии!

Коньяк ухнул ему внутрь с такой легкостью, как будто там была у него вместо внутренних органов просто обширная емкость для приема спиртного. «Дальневосточная – опора прочная!» – проголосил он и сел, действительно счастливый, нажратый и напITYй, какой-то как бы вечный, из того разряда бездельников, без которых никакое дело не сдвинется с места.

– Третьего дня в Ставке, Никита, вообрази, кого встречаю – Костю Рокоссовского, своего тезку! Да-да, тоже освобожден, все ордена возвращены, уже получил колоссальное назначение! – Вдруг он повернулся к Тасе, которая подкладывала обоим генералам закусочки и сияла материнским счастьем. – Девушка, дорогая, погуляй, голубушка, полчаса где-нибудь, а? Пока не поднабрались, нам надо с генерал-лейтенантом посекретничать.

Тася дважды просить себя не заставила, накинула шубку, пошла прогуляться до «Военторга», заодно и купить генералу свитерок под китель, носки, подходящие его званию британские принадлежности. Подслушивать секреты ей было без надобности, совсем не то от нее требовалось.

– Я к тебе с поручением, Никита, – сказал Шершавый, – но только ты не думай, что от... – Он скосил глаза влево, вправо, посмотрел себе за спину на картину «Бурелом», глянул и на потолок. – Не от этих, клянусь, а от главкома-Запад, да-да, непосредственно от Георгия Константиновича.

Ну, ты знаешь уже, как обстоят дела, даже из газет это видно, а на самом деле в пять раз хуже. Жуков тебя очень уважает, ну, в общем, в профессиональном смысле, и он велел тебе передать, что речь идет сейчас э-ле-мен-тар-но о судьбе отечества. Если Москва падет, рухнет все, а значит, мы на многие десятилетия станем немецкой колонией.

В этот момент Никита, крутивший в пальцах стакан и глядевший на скатерть, резко поднял голову и посмотрел на порученца.

Генерал-майор Шершавый драматически покивал:

– Тут я от себя, извини, Никита, добавлю. В такие минуты надо забыть о личных обидах, родина – это больше, чем... ты знаешь, о чем я говорю... Короче, тебе предлагается возглавить Особую ударную армию, которая сейчас формируется из свежих, уральских и сибирских частей. Нечего и говорить о том, что твое «блюхеровское дело» закрыто и ты полностью реабилитирован. Больше того, уже подготовлен указ о присвоении тебе следующего воинского звания, то есть генерал-полковника. Ну, каково?

– Это все согласовано со Сталиным? – тихо спросил Никита. Что-то отдаленно похожее на самолетную тошноту стало подниматься со дна то ли души, то ли желудка, то ли от избытка коньяку, то ли от лавины высших милостей.

– Непосредственно! – воскликнул Шершавый. – Выдам секрет, генерал-полковника тебе предложил лично Иосиф Виссарионович!

Никита посмотрел порученцу в глаза, там у него уже плескалась сталинская эйфория, джугашвилиевский восторг, гипнотическое счастье от причастности к пахану. Биться за родину, защищать тем самым кремлевских уголовников, что за страшная и извечная доля! Драться против гитлеровской расовой гегемонии за гегемонию сталинского класса, за хевру!

Шершавый увидел, что ответного восторга в глазах Градова не возникает, обеспокоился, снова схватился за бутылку первоклассного «Греми»:

– Ну, я понимаю, что ты все это должен переварить, что все это так неожиданно, тебе надо все это сформулировать и для себя, и для дела, понимаю, Никита, и давай возобновим этот разговор завтра, лады?

Он снова махнул себе внутрь стакан темно-янтарной влаги, подцепил на вилку кус заливной осетрины.

– Но завтра, Никита, ты уже все должен решить. Дорог каждый час. Гудериан может прорвать наш фронт в любую минуту и не делает этого сейчас, по данным разведки, только из-за недостатка горючего...

После этой фразы генерал-майора вдруг стремительно развезло. В лучших традициях гарнизонных загулов он лез к Никите с поцелуями, орал о своих колоссальных связях в Ставке, бахвалился храбростью, стратегическим провидением, тактической смекалкой, клялся вместе погибнуть «на последнем редуте социализма», провозглашал непрерывные тосты за победу, за русское оружие, за женщин, которые «фактически превращают нашу жизнь в увлекательное приключение»... Тут как раз вернулась Тася, и Шершавый вдруг, словно только что ее увидев, бурно восхитился прелестями этой, как он выразился, идеальной фронтовой подружки, стал предлагать тосты за нее, завидовать Никитиной удаче, недвусмысленно намекать и о своей причастности к этой удаче – «увы, по себе знаю, что значит отсутствие дамского общества», – потребовал гитару, как ни странно, тут же в чудном домике нашлась и гитара, запел приятным, хотя и пьяным баритончиком: «Сердце, тебе не хочется покоя», а потом, совсем уже «поехав», попросил у Никиты разрешения удалиться с Тасей на часок во вторую спальню, просто для того, чтобы она хоть раз в жизни познала настоящее женское счастье... Засим «отключился от сети», левой брыластой щекой слегка проехавшись по блюду с кетовой икрой.

Гитара тут перешла в умелые руки Таси, романтически зарокотала «Мой костер в тумане светит...». «Ну и бабу тут мне сочинили, ну и бабу», – пьяно подумал Никита, прогладил ее сильно вдоль позвоночника и вышел на крыльцо, чтобы отрезветь под морозным ветерком.

Здесь он нашел своего прежнего по ОКЗДВА шофера, сержанта Васькова, ныне, разумеется, пребывающего в старшинском звании. Морда у того за эти годы стала еще более хитрая и бронированная, не подступись. Васьков немедленно взял под козырек и прогаркал:

– Готов к выполнению ваших приказаний, товарищ генерал-полковник!

Ага, уже знает о третьей звезде! Никита чуть-чуть поскользнулся на крыльце и немедленно получил поддержку – васьковское верное плечо. Из открытой двери лилась Тасина песня, невнятно что-то бормотал в икру высочайший порученец.

Во всем, и в этом тоже, предстоит разобраться. Никита сильно потер себе лицо – раз, два, три – и в третий раз вынырнул из своих ладоней уже командующим Особой ударной армии. Во всем до мельчайших деталей начнем завтра же немедленно разбираться. Только тут он вдруг понял, что к нему пришел его истинный, мощный и непреклонный возраст.

Утром он предъявил Шершавому список из двух дюжин командирских имен. Генерал-майор, морщась от головной боли, прочел список, на каждой фамилии останавливаясь похмельным расплюснутым пальцем.

– Полковник Вуйнович, подполковник Бахмет, майор Корбут... Знаю каждого, перво-классные офицеры...

Он вытащил из кармана заскорузлый платок, продул в него свой выдавший всякое нос, «просквозило в самолете, елки-палки», благодарно, хоть и не без шкодливости, глянул на Тасю, поставившую перед ним утреннюю, столь необходимую чарку.

– Насколько я знаю, все они еще живы, – жестко сказал Никита. – Их надо немедленно собрать по лагерям. Без них я не приму на себя командование Особой ударной армией.

– Спасибо, Никита, – проговорил Шершавый, глядя на него слезящимися, благодарными – утренняя прошла! – глазами. – Это как раз то, что сейчас требуется. Собрать кадровый состав. Спасибо тебе, генерал-полковник! Я должен тебе сказать, что меня уполномочили принять все твои требования.

Никита, мощно и непреклонно преодолевая подкатывающие волны эмоций, от которых ему хотелось навзрыд расплакаться, прошелся по комнате, мягко, даже с нежностью, выдворил Тасю на кухню и остановился через стол напротив посланца:

– Ну, в таком случае ты, должно быть, уже представляешь себе мои главные требования. Где моя жена?

Шершавый просиял: видно, не было для него легче вопроса.

– С ней все в порядке! Она была в лагере общего режима на Северном Урале, и сейчас, я полагаю, ей уже сообщили о реабилитации. Так что, Никита Борисович, скоро встретишься в Москве со своей красавицей. Эх, как была твоя Викочка хороша, весь гарнизон, помню, в нее был влюблен. Кокетливость и неприступность, редкое сочетание, а какая теннисистка! Вообще, не женщина, а какое-то воплощение двадцатого века...

– Ну подожди, хватит болтать, – перебил его Никита. – Что с моим братом?

Порозовевшая, сочащаяся потом физиономия занавесилась мраком.

– Вот с этим вопросом хуже, Никита. Нам пока не удалось найти его следов. Ведь Кирилл был осужден без права переписки, а ты знаешь, что...

Никита, не дослушав, ушел в угол и встал там, уперев обе руки в сходящиеся стены. Убили мерзавцы моего Кирюшку, моего «строного юношу», марксиста-утописта, пристрелили в затылок грязной вшивой чекистской пулей, чекистские свиньи, в-сраку-в-парашу-весь-ваш-род! Ну ладно, если, Бог даст, выстоим перед Гитлером, потом все это вспомним!

Генерал-майор Шершавый озабоченно смотрел на обтянутую темно-зеленым сукном тощую, с выделяющимся, как линия Мажино, позвоночником градовскую спину. Как бы не передумал Никита, как бы не сорвалась миссия! Он начал что-то опять бормотать о танках Гудериана, о воле истории, о том, что надежда найти Кирилла еще не потеряна, о том, что он и сам все это прошел и знает, что к чему, и вот недавно с тезкой Костей Рокоссовским пили и вспоминали, но ведь мы прежде всего солдаты, кто же, если не мы, будет родину защищать, не энкавэдэшники же... Ему казалось, что Никита его не слушает, и это подтвердилось, когда тот резко обернулся, прошагал мимо, открывая все двери, призывая Тасю и Васькова, берясь

самолично за телефонную трубку, соединяясь с аэродромом, справляясь, когда будет готов самолет для генерал-полковника Градова. Самолет, оказалось, давно уже готов и ждет его.

Он обнял Тасю, та благодарно прильнула.

– Ну, прощай, маленькая хозяйка большого дома, – нежно усмехнулся он.

– Не нужно «прощай», Никита Борисович, – пролепетала та, – скажем друг другу «до свиданья».

Втроем они, два генерала, один громоздкий, расплывшийся, похмельно-советский, другой сухопарый, как бы белогвардейской закваски, и сентиментально похлупывающая носиком женщина, вышли на крыльцо. Васьков заводной ручкой раскручивал мотор зиска.

– Да, забыл тебе еще одну вещь сказать, Никита, – проговорил Шершавый. – Меня прочат к тебе начальником штаба. Надеюсь, ты не возражаешь?

– Возражаю, – немедленно и с неслыханной, даже пугающей четкостью ответил Никита.

Зисок тут взревел с неожиданной мощью, как вся недобитая Россия.

Глава V Ля-бемоль

В один из ноябрьских дней 1941 года Совинформбюро оповестило с утра читателей газет и радиослушателей о том, что подразделение боевых самолетов под командованием майора Дельнова уничтожило восемьдесят немецких автомашин, больше двадцати броневиков, четыре танка и двадцать зенитных орудий. Между тем соединение майора Комарова за последние десять дней уничтожило шестьдесят немецких танков, четыреста двадцать автомашин и причинило тяжелые потери трем пехотным полкам и одному кавалерийскому эскадрону.

Ставка Гитлера в тот же день сообщила, что наступательные операции на Украине развиваются успешно. На подступах к Харькову танковое соединение было встречено бронированной колонной русских. Из 84 вражеских танков 34 уничтожены, остальные повернули назад.

Германские бомбардировщики продолжали атаковать военные сооружения в Москве.

Подводными лодками отправлено ко дну пять английских транспортов общим водоизмещением 25 000 тонн.

Коммюнике финского командования в тот же день сообщило об успешных боях к югу от Петрозаводска. Завершается окружение крупного соединения противника.

Британское министерство авиации оповестило о последовательных атаках на цели в Гамбурге и Штеттине. В обоих городах горят доки и индустриальные объекты. Потери англичан – один бомбардировщик.

В Ливии песчаная буря прервала все наземные действия. Ситуация остается без изменений.

Итальянское верховное командование в тот же день довело до сведения любопытных, что британский конвой после успешной атаки итальянских самолетов далее на своем пути к Гибралтару был атакован итальянскими подлодками. Торпедами потоплены два корабля. В воздушном бою уничтожены три «харрикейна».

Словом, на всех фронтах так, в общем-то, весело разгоревшейся мировой войны царило в тот день затишье. К такому выводу пришел бы после чтения всех этих коммюнике кто угодно, но только не майор медицинской службы Савва Китайгородский. Для него этот день был просто продолжением бесконечного горячего кошмара, в который он погрузился с первого момента его фронтовой деятельности; затишья не было. Госпиталь постоянно спасался бегством. Едва успевали развернуть операционный блок, как немедленно либо приходил приказ сворачиваться, либо просто-напросто загоралась крыша, обваливалась стена, рушились лестницы: тыловое учреждение то и дело оказывалось в зоне прямых боевых действий. Не далее как на прошлой неделе персоналу пришлось самолично отстреливаться от взвода прорвавшихся немецких мотоциклистов. Самое же ужасное заключалось для высококлассного хирурга, каким был Савва, у себя в клинике занимавшегося сложнейшими анастомозами, в непрерывности и даже в постоянном нарастании грубейшей «мясной» работы. Раненых поступало в три раза больше, чем госпиталь мог обработать. Начальник медслужбы дивизии полковник Назаренко требовал, в соответствии с секретными инструкциями, в первую очередь оперировать тех, кто сможет вернуться в строй. Савва цеплялся за остатки старомодной «врачебной этики», оперировал в порядке поступления, статистика возможного возврата из-за бесконечных ампутаций конечностей у него получалась плачевная. Прибавьте к этому постоянную нехватку элементарных дезинфицирующих средств, потерянные при поспешном отступлении инструменты, оборудование, материалы, прибавьте к этому, мягко говоря, относительность асептики в операционном блоке, полную измученность персонала, а также то, что из десяти состоящих в его подчинении хирургов трое и сами ранены, прибавьте к этому мародерство санитаров, не только

грабивших раненых, но постоянно, даже под угрозой немедленного расстрела, расхищавших запасы спирта... ну вот, а теперь извольте представить себе статистику дивизионного госпиталя, где главным хирургом майор Китайгородский, статистику, отражающую действительное положение вещей, а не ту, что хочет увидеть на своем столе полковник Назаренко.

Несколько дней назад госпиталь переправили в Клин, подмосковный городок, расположенный на стыке 16-й и 30-й армий, и отвели ему, ни больше ни меньше, совсем нетронутое здание средней школы. Врачи и сестры надеялись, что хоть здесь-то удастся отстояться на более или менее стационарном положении: ведь за Клин-то вроде бы отступать уже некуда. Савва вспомнил, как ездили как-то в Клин на праздник – концерт в честь Чайковского, ведь это же родные места национального гения, здесь его рояль стоял. Как тогда в автобусе все почему-то развеселились, разболтались, просто и не заметили, как доехали до этого Клина.

На трех этажах школы были устроены вполне сносные палаты для раненых, а в отдельно стоящем одноэтажном здании спортзала – «сортировка», то есть то, что в нормальной медицинской речи именуется «приемным покоем», и «мясницкая» – так, со свойственным им черным юмором, молодые хирурги, подчиненные Савве, называли операционный блок. Здесь они работали дни и ночи напролет, разрезали кожу и мышечные ткани, пилили кости, коагулировали сосуды, отбрасывали тронутые гангреной конечности и клочья размочаленных тканей, шили мышцы и кожу, и снова, и снова... и так все снова и снова, будто все человечество решило вдруг избавиться от излишков плоти.

Повсеместно применялся тот метод футлярной местной анестезии, который когда-то разработали совместно профессор Градов и его ассистент Китайгородский. Метод этот оказался как нельзя кстати в полевых условиях, когда практически не было никаких возможностей для общей анестезии. Молодым врачам госпиталя льстило, что их шеф – тот самый Китайгородский, чей метод они совсем еще недавно проходили в институте.

Раненых между тем становилось все больше, и все ближе подходил ни на минуту не умолкавший рев войны. Все чаще над Клином можно было видеть молниеносно разгорающиеся свары летающего металла.

«Пациенты опять разбушевались», – обычно говорил Дод Тышлер, любимый ученик Саввы, бросая взгляды вверх, на проносящиеся от тучи к туче «ястребки» и «мессеры». То один, то другой – чаще всего это были, разумеется, тупоносые старомодные «ястребки» – как бы спотыкался в воздухе, припадал на одно крыло, а потом начинал дымить и, раздувая черный шлейф и языки огня все шире, устремлялся к земле с такой стремительностью, будто в этом и состояла цель его создания. Иногда от горящего металла отделялась темная точка, и тогда над ней распускался зонт парашюта.

«Умело борется за жизнь, хороший спортсмен», – говорил Дод Тышлер, который и сам еще недавно играл за волейбольную команду Первого мединститута. «Добро пожаловать, парашютисты враждующих армий!» – продолжал он, и тут уж его приходилось одергивать, чтобы, не ровен час, не услышал хохмача особист.

Странным образом, в госпиталь ни разу еще не поступали летчики со сбитых «мессеров». То ли их пристреливали там, на месте, то ли отвозили в какой-нибудь специальный медотряд.

Третьим пациентом Саввы в тот день был капитан Осташев, известный ас, сбивший, по сообщениям, не менее десятка вражеских машин. Его подбили при попытке перехвата группы немецких бомбардировщиков, подходящих к Москве. Если и нельзя представить в рядах Красной Армии князя Андрея Болконского, то капитан Осташев, хотя бы внешне, был все-таки большим к нему приближением; тем более что и страдание, бесконечная страшная боль и сопротивление боли, решительное нежелание унизиться до стонов, воплей и проклятий придавали его чертам некое суровое благородство.

Признаться, Савва не мог понять, за счет каких резервов летчику еще удастся не терять сознания и даже отвечать на вопросы. Он держался даже при снятии бинтов, только похрусты-

вал зубами, будто пережевывал битое стекло. Только после укола морфия он отключился, и все «княжеское», героическое сошло с его лица, проявив, будто на переводной картинке, простое выражение паренька с городской окраины. «Тетья... – бормотал он теперь, – Лидия Васильевна... да это ж я, Николай... мать за мылом, за мылом, за мылом к вам... пос... лала...»

Капитана утром вытащили из-под обломков его самолета, рухнувшего в полукилометре от лесного аэродрома. Пока везли в госпиталь, он потерял много крови, несмотря на умело наложенные бинты. Первое, чем озаботился Савва, была капельница с физраствором и глюкозой. Недавно синтезированная глюкоза считалась чуть ли не панацеей. Только после этого приступил к осмотру ран, зрелище которых любого человека погрузило бы в полный мрак, но только не главного хирурга дивизионного госпиталя после трех месяцев работы в условиях общего отступления. У капитана были разможены правая нога и левая рука, множество мелких ран на груди и плечах, самое же серьезное заключалось в рваной ране брюшной полости, которая сейчас была вся туго затампонирована, но все еще сочилась и довольно мерзко смердела. «Интересно, что даже ранение у него напоминает о смерти Андрея Болконского», – вспомнилось Савве. Он осмотрел и ощупал голову капитана. Череп вроде был цел, однако кровоподтеки на висках несомненно говорили о сильнейшей контузии, которая, возможно, и давала ему вот эту странную болевую устойчивость.

– Этого, кажется, еще можно спасти, – сказал Савва.

– Только неизвестно, будет ли он благодарен нам за это спасение, – пробормотал Дод Тышлер.

– Тем не менее будем спасать, – сказал Савва.

Он распорядился готовить все к большой операции, после чего они с Тышлером вышли из спортзала на школьный двор покурить перед долгой работой.

Здесь им сразу бросилось в уши, как резко вдруг приблизился шум войны. В бледно-голубом небе пролетали холодные тучки, в сотрудничестве с ними голые деревья и пятна снега под ними предлагали классический русский патриархальный пейзаж; уродливая гипсовая скульптура пионера с горном немедленно привносила в эту классику жанр советского захолустья, однако гром, грохот, вой, скрежет и визг какого-то страшного, близкого и все приближающегося боя придавал этой мирной картине черты кошмарной ухмылки.

– Вам не кажется, шеф, что надо сматывать удочки? – спросил Дод Тышлер, затаптывая папиросу.

– Приказа пока нет, Дод, а потому мы должны работать, – сказал Савва.

– Это верно, – проговорил молодой врач, потянулся, сделал несколько разминочных волейбольных движений, насвистел несколько тактов из популярного фокса «На далеком Севере».

Вдруг низко, едва ли не цепляя за верхушки деревьев, прошли на запад три звена штурмовиков с красными звездами на крыльях, их грохот покрыл все.

– Ого, бронированные «илы» появились! – воскликнул Дод. – Видите, новая техника уже поступает!

Савва посмотрел на него и впервые подумал, что Дод еврей. Если попадем в окружение...

– Послушайте, Дод, если вы не хотите сейчас мне ассистировать с этим капитаном, займитесь чем-нибудь другим, а я подключу Степанова, – проговорил он и тут же испугался, что сказал бестактность.

Тышлер весело возмутился:

– С какой стати? Отказываться от работы с самим Китайгородским? Еще вчера я не мог об этом и мечтать!

К счастью, он, кажется, меня не понял, подумал Савва, не понял, что я ему, еврею, хотел дать возможность отступить при первой же возможности. Ну что ж, надо начинать, не сидеть же, в самом деле, в ожидании приказа драпать. Гремит где-то близко, но на прорыв пока не

похоже. Обычно прорыву немцев предшествует бомбежка, сильный артобстрел, отходящие или, чаще, бегущие колонны войск; сейчас ничего такого не наблюдается...

Будто в ответ на его мысли, роща в глубине на мгновение озарилась бешеной вспышкой. Проходящие по двору два санитары из легкораненых обернулись в ту сторону и засмеялись: «Шальная залетела!»

– А что, своя или чужая? – спросил у солдат Дод Тышлер.

– А кто ж его знает, товарищ военврач, своя или чужая...

Почему они «это» называют в женском роде, подумал Савва. Ведь это же очевидно – снаряд прилетел, значит, «он», а они говорят так, будто это бомба... Своя – чужая... Может быть, тут где-то слово «смерть» лежит в подсознании... своя – чужая?..

Капитан Осташев уже хрипел под хлороформной маской, когда они вошли в операционную, где с потолка еще идилично свисали гимнастические кольца и канаты.

– Долго держать его под хлороформом нельзя после такой потери крови, – сказал Савва. – Начинайте, Дод, фулярную анестезию.

В первую очередь следовало заняться раной на животе, иначе начнется необратимый перитонит и некроз кишечника. Конечности во вторую очередь.

Операция началась, и, как обычно, Савва, что называется, погрузился в свою стихию. Он работал почти автоматически, одним глазом следя за ловкими, даже слегка щеголеватыми движениями Тышлера, а вторым еще успевая поглядывать, что происходит на пяти других операционных столах. Маску с лица капитана сняли. Он дышал в глубоком забытии тяжело и ровно, будто старая паровая машина. Изредка вдруг что-то начинал бормотать, почти неразборчивое, только мелькала опять какая-то тетя Лида, у которой некий мальчик Николай, то есть сам капитан Осташев, что-то просил, то ли мыла для мамы, то ли ласки для себя.

Открывая брюшную полость, дренируя ее, пережимая сосуды, Савва поймал себя на том, что машинально повторяет последние стихи Нины, которые она ему прислала на днях, и не через полевую почту, а с оказией, с фронтовым фотокором из «Известий».

Опускаюсь в темные глубины, полированные стены, зеркало залеплено фанерой, отрыжка довоенным шпротом, тысячи таких же персефон, три-четыре вонючих ведра, жалкий мой народ сутулоспинный, прощайте, ежевечерние уроки геометрии, тянутся к метро со всех сторон, куб гипотенузы с тремя переломанными шрапнелью катетами, сколько еще осталось в этих подвалах муки?

Век погас, серебряные свечи, длинный перечень талонов литеры «Б» с острова Эвакуа, плавятся в уродливых божках, ты, гроссмейстер радостных заплечий, каких домашних животных, кроме сухих и черных кошек, бей наотмашь, без обиняков, двери не открывать, сигнализировать немедленно!

Пропадай, моя литература, дайте вашу ладонь, химическим карандашом на бугорке любви, Ланцелот, Онегин, Дон-Кихот, никогда не дождетесь переключки фаланстеров, тяжело страдает кубатура, грязный уж ко мне вползает в рот, так и стоять мускулистыми барельефами с гроздьями фальши на плечах, с бананом обмана в правой руке.

Только ты остался на просторе, пока не пройдет финальная бомбардировка, поднимая дерзкий ля-бемоль, замедленное падение фасадов, завершение элементарного фотосинтеза, только ты один в моем фаворе, ускоренное центрифугирование, светлоокий Севера король, из варяг в греки без промежуточных остановок...

«Видишь, – писала Нина, – в какую я впадаю простоту. Удали отсюда модернистскую прозу, и получится почти нормальный стих...»

Он так и сделал, и с тех пор все бормотал себе под нос этот «почти нормальный стих». Закавыка была только в «дерзком ля-бемоль»: он никак не мог сообразить, для чего это тут, ведь не для рифмы же, пока вдруг не вспомнил старую семейную хохму. Как-то раз музыкально малограмотный Савва употребил этот «ля-бемоль» ни к селу ни к городу, чем вызвал бурный восторг у Нины. Она никак не могла успокоиться и несколько месяцев все доводила мужа «этим злосчастным ля-бемолем». Профессор, а как сегодня «ваш ля-бемоль»? Савка, ты все собрал, «ля-бемоль» не забыл? Люблю тебя, мой друг, но больше всего люблю «твой ля-бемоль»...

Глупая, прилипчивая шутка, оказавшаяся вдруг в строфе Нининого серьезного и, очевидно, трагического стиха, повернула его мысли в неожиданном направлении. Ему показалось, что, уцепившись за нее, он может раскрутить весь клубок своих чувств и ответить самому себе, почему он, профессор, заведующий кафедрой, оказался на фронте, практически на передовой.

Этот тон бесконечно милого друг над другом подшучивания, на который они так счастливо натолкнулись в первые же дни супружества, давно уже себя изжил, а она этого не понимала, она позабыла сменить пластинку и тянула все тот же мотив. Да он и сам не понимал, откуда вдруг берется раздражение против любимой и единственной женщины, раздражение легчайшее и самое что ни на есть мимолетное, которое он не только никогда не показывал, но и самому себе не позволял на нем спотыкаться, но все-таки спотыкался и – раздражался. За бесконечными шутками, как он вдруг сейчас понял, стояло нечто другое – ирония, снисхождение. Ей, поэтессе и, в общем-то, человеку богемы, он, хирург, аккуратист, атлет, видимо, всегда казался воплощением презренного здравого смысла, и в связи с этим их союз – неким мезальянсом. Слов нет, Нинка его любила без памяти, в постели с ним забывала обо всем на свете, их оргазмы, очевидно, приносили ей какие-то романтические воспарения. Помимо этих дел, он был для нее сильной опорой, человеком, внутренне не покорившимся. Она как-то призналась, что он спасает ее от депрессии и, возможно, от алкоголизма. И все-таки она всегда оставляла себе этот как бы запасной выход, какую-то гипотетическую возможность сквозануть из супружества – иронию. Увы, он знал это точно, гипотетические возможности иной раз становились реальностью. Временами, он видел, у нее начинала кружиться голова. В такие дни она где-то задерживалась, часто уезжала то в реальные, то в выдуманные творческие командировки, возвращалась с блуждающим взглядом, заболела гриппом, ангиной, один раз даже пневмонией, закутывалась в свитеры, пледы, сидела в углу, строчила в блокнотике, виновато шутила, однако шутила, шутила всегда. В результате этих приступов, естественно, появлялись стихи. Как говорится, все на пользу. Виновники ее «высоких болезней» чудились ему повсюду. На писательских сборищах и поэтических вечерах он ловил на себе иронические взгляды. Как-то раз одна растленная тварь, улучив момент, спросила его с усмешечкой: «Савва, а вы действительно так привязаны к этой Нине Градовой?» То ли хотела намекнуть на неверность, то ли к себе в постель жаждала затащить, во всяком случае спрашивала так, будто он и не был мужем «этой Нины Градовой», а просто одним из ее, ну, скажем так, лирических героев.

Кстати, о лирике. Внимательно, строчку за строчкой, прочитывая ее стихи, он не видел в них себя. Ну что ж, таков мой удел, мне достается только бытовая ирония, и я должен на нее отвечать соответственно. Ёлка, так та под влиянием мамы вообще привыкла смотреть на отца как на домашнего шута. Таким я и предстаю. Добрый вечер, дамы, пришел ваш домашний шут. Чем еще вас позабавить? Не угодно ли папе повисеть на люстре? Па'д'проблем, медам, только прошу не раскачивать тело. Он никогда не унижится до сцен ревности. Это исключено. Никогда не спрошу о «лирических героях», хотя любопытно, кто же так сильно поражает поэтическое воображение? Может быть, один из этих новомодных советских «Хемингуэев», в компании которых она в последнее время повадилась появляться? У них у всех усики под носом и за плечами какая-нибудь Испания, вроде Халхин-Гола. У них ордена Красного Знамени привинчены

к пиджакам оксфордского стиля, у них машины и квартиры в новых тяжело-каменных домах. Молодые, сильно выпивающие путешественники, в первые же дни войны они облачились в пилотские кожанки и стали появляться в писательском клубе с солдатскими вещмешками... Что же это, если не ущерб вкуса, дорогая комсомолочка-декаденточка, когда ты посвящаешь стих неким прозрачным инициалам и пишешь там: «Он опять улетел, сделав крылья подобием родины, ускользящей тенью в холодных пустых облаках»?

На собрании профессорско-преподавательского состава в институте представитель Наркома здравоохранения довел до сведения присутствующих, что все профессора и доценты автоматически получают «бронь». Партия и правительство уверены, что эти высококвалифицированные специалисты внесут свой вклад в победу над врагом, консультируя и оперируя в тыловых госпиталях. К тому же проблема подготовки медицинских кадров встает сейчас с еще большей остротой. Мы должны гарантировать как горизонтальное, так и вертикальное медицинское обеспечение действующей армии. Тогда вдруг на трибуну вылез профессор Китайгородский и сказал, что именно в связи с горизонтальным, а главным образом с вертикальным медицинским обеспечением армии он намерен отправиться на фронт. Он также подчеркнул, что, начиная еще с его первых шагов под руководством Бориса Никитича Градова, его исследовательская работа всегда имела определенный военно-медицинский аспект и было бы просто нелогично упускать возможность проверки этого аспекта в полевых условиях.

Несколько человек на этом собрании последовали его примеру, и Китайгородского даже объявили зачинателем патриотической инициативы. Институтские доброжелатели говорили о нем: «Савва продемонстрировал истинный патриотизм, вот вам пример, ни единого высокопарного слова, даже легкая ирония, и вот вам, пожалуйста, истинная русская интеллигенция!»

Все чаще и чаще слышались в обществе сугубо немарксистские, неревOLUTIONные, недавно еще почти ругательные слова: «отчизна», «наша держава», и вот вам докатились до чего – «русская интеллигенция»!

Савва и сам не понимал, что его побудило тогда объявить это свое решение, о котором он и не подозревал за минуту до того, как полез на трибуну. Донкихотский нелепый порыв? Может быть, и на самом деле лишь чистый подсознательный патриотизм подвинул его к этому не очень-то рациональному поступку? Ведь и на самом же деле душа была уязвлена нашествием чужого на свое. Сталин ли, Гитлер ли, большевики ли, нацисты ль, все-таки чужая подлость прет на родное злосчастье, и душа требует движения к своему народу. Однако если и будет от меня польза на фронте, то все же не такая, какую принес бы здесь, в тылу.

Нина не стала требовать объяснений. Она только забралась к нему на колени, целовала, гладила его по голове, брала в рот несколько ороговевшие за последние годы дуги ушей. Оба они чувствовали, как проходит сейчас между ними нечто невысказанное. Теперь, когда он совершил то, чего она от него меньше всего ожидала, он предстал перед ней тоже почти как поэт.

Вот именно, думал он сейчас, бормоча «почти нормальное стихотворение» о спуске в темные глубины, вот именно в ту ночь она вдруг словно увидела во мне ровню, и это было впервые, и это было главной и истинной причиной моего порыва на фронт – доказать ей, что я не совсем тот, за кого она меня всю жизнь принимала.

Тем более странно выглядит здесь «дурацкий ля-бемоль», сводящий последнюю строфу едва ли не к «буриме», и это все опять же связано с привычной, вполне уже заскорузлой иронией в адрес единственного, разумеется, единственного любимого, хоть и такого привычного, такого нехемингуэевского человека... Эти мысли не покидали Савву, пока он точно и умело, не теряя ни одной секунды, работал в брюшной полости прославленного летчика Осташева.

Между тем обстановка вокруг дивизионного госпиталя становилась более чем двусмысленной. Здание школы уже находилось в зоне какого-то хаотического артобстрела. Через боль-

шие окна спортзала видны были разрывы снарядов, взметавшие к небу клочья мерзлой земли и куски деревьев. Меж стволов парка ползли отходящие в тыл с повернутыми в сторону противника башнями танки. Один танк шел со шлейфом дыма и пробегающими по броне бесенятами огня. Он уперся в большое дерево и встал. Два танкиста торопливо выскочили из башни, третий успел вывалиться лишь наполовину, упал вбок, словно огромная черная кукла. В следующее мгновение взорвался бензобак.

Мимо быстро проходили беспорядочные группы пехотинцев. Взвод минометчиков выскочил на бугорок с гипсовым горнистом, мгновенно развернул свои нелепые орудия. Минометы начали плевать огнем. Дальность их стрельбы была невысокой, а следовательно, и противник находился неподалеку, иначе стрелять из этих труб не было бы никакого смысла. Минут и десяти не прошло, как минометчиков смела с бугра какая-то мгновенная огненная буря.

Савва этого не видел, потому что работал спиной к окнам, однако вой и грохот, бушующие вокруг, не оставляли у него сомнений, что госпиталь оказался в полосе немецкого прорыва и что отступить, может быть, уже поздно.

Стекла уже давно осыпались во всех четырех окнах. Снаряд прошел стену и сорвал баскетбольный щит. Операционные лампы все погасли. В пробоину был виден развороченный трансформаторный щит.

– Всем, кто кончил операции, немедленно отступить! – крикнул Савва.

– Да ведь приказа же, приказа из штаба дивизии не было, Савва Константинович, – истерически завопил из приемного покоя комиссар госпиталя Снегоручко.

– Там уже, наверное, некому приказывать! – крикнул ему в ответ Савва.

Снегоручко вдруг выскочил в святая святых, в операционную. Он хватался за кобуру пистолета, глаза светились медяками.

– Не паниковать! Застрелю!

– Уберите идиота! – приказал Савва санитарам.

Очередной и самый близкий взрыв потряс все здание.

– Вы тоже отступайте, Тышлер! – жестко сказал Савва Доду. – Мы тут все закончим без вас с брюшной полостью. Спасибо за помощь.

– А ноги?! – горячо зашептал Дод, тоже как не совсем нормальный. – С ногами-то, с ногами-то что?..

– Ноги возьмем в руки, – усмехнулся Савва. – Если успеем проскочить, то ногами займемся завтра...

Он почему-то был без всякого наигрыша совершенно спокоен, будто недавние мысли о Нине помогли отрешиться от опасности.

– Я знаю, что вы имеете в виду, – тем же жарким шепотом продолжал Дод. Руки его, впрочем, совсем не дрожали, а продолжали по-прежнему четко накладывать кетгуттовые швы на кишечник и вязать лигатуры. – Я никуда не уйду! – выпалил он.

– Не валяйте дурака! – сказал Савва. – Выполняйте приказ! Я вас назначаю своим заместителем по отходу в тыл!

Вдруг и гром, и рев, и свист, и вой, и треск – все смолкло вокруг госпиталя. В наступившей тишине только слышалось неподалеку почти идиллическое после предшествующей симфонии фырчание моторов.

«Отбились? Прекрасно! Поздравляю с новым доносом, товарищ Снегоручко», – подумал Савва. Он сделал жест Доду – дескать, хорошо, давайте завершать. Дод в этот момент смотрел через его плечо в разбитое окно. Он вздрогнул, ничего не сказал и вернулся к животу капитана Осташева. Тот уже вернулся из своих детских путешествий к тете Лиде и теперь лежал молча, стиснув зубы, снова в обличье заматерелого в советской авиации князя Болконского. Хирурги уже закрывали его брюшную полость, накладывали последние швы, оставляя выход для дренажа. Савва работал, не поднимая головы, пока вдруг не понял, что в этой удивитель-

ной тишине что-то произошло еще более удивительное. Он окинул взглядом спортзал, то бишь операционную, и увидел, что все оставшиеся врачи и сестры смотрят в его сторону, но не на него, а за него, и тогда он понял, что ему нужно обернуться, чтобы узнать последнюю новость этой войны, свою собственную новость.

Он обернулся и прямо за собой увидел трех чужаков, ошеломляюще чужих, будто прилетевших с другой планеты людей. Прошла едва ли не минута, прежде чем он понял, что это немецкие танкисты и что во дворе уже стоит целое подразделение немецких «Марков».

Командир этого подразделения и два офицера помоложе как раз и стояли за спиной Саввы. Поразили три пары светлых, различных оттенков голубизны глаз. Они были похожи на его собственные глаза. Командир поднял руку в тяжелой кожаной рукавице и произнес какую-то комбинацию грубых слов, из которой Савва вдруг понял, что он может завершить операцию. Савва и Дод склонились над швами. Они что-то хотели сказать друг другу, но не могли вымолвить ни слова. Немцы за спиной продолжали громко разговаривать. Савва вдруг сообразил, что понимает их, хотя всегда относился к своему школьному немецкому с глубочайшим пренебрежением, в отличие от приобретенного позднее французского, которым щеголял. Танкисты, кажется, говорили о том, что всех оставшихся в школе, шайзе, надо выкинуть, квач унд шайзе, и сказать, чтоб драпали, куда хотят, хоть к своим, хоть прямо в дремучую, заросшую паутиной сталинскую задницу. В плен брать нельзя, некогда возиться с пленными, слишком много этого говна, пленных, не знаешь, куда от этого шайзе деваться. Им, ублюдкам, идет провиант. Лучше бы убивать этих пленных, ну, не нам же их убивать, мы танкисты, пусть их убивает тот, кому положено, а у нас и своих дел хватает.

Этот врач пусть заканчивает штопать своего ивана. Er ist sehr gut! Sehr gut. Sehr gut Arzt! Сейчас он кончит, и мы всех отсюда выгоним. В жопу! Ха-ха-ха! К Сталину прямо в сраку! Эй, вы кончили, герр арцт? Вундербар! Сейчас все отсюда убирайтесь! Раус! Лос, лос! К Сталину! Квач und шайзе!

Медперсонал еще не понимал, что их отпускают на волю. Комиссар Снегоручко как стоял, так и остался с поднятыми вверх руками. Молодой танкист подтолкнул его коленом в зад, обнаружил на поясе пистолет в кобуре, сорвал с комиссара пояс вместе с кобурой, перекинул его себе через плечо и про комиссара забыл.

Савва в полнейшей неразберихе отдавал приказания:

– Все, кто может двигаться, уходят своим ходом! Тяжелых выносим на руках! Двигайтесь! Быстрее! Они могут передумать!

Он склонился к лицу капитана Осташева:

– Как себя чувствуете?

Тот вдруг начал ему с какой-то кривой лукавинкой подмигивать, зашептал:

– Яду мне дай, военврач, яду!

– Мы еще с вами водки выпьем, капитан! – произнес Савва обычную в таких случаях фразу.

Дод Тышлер притащил ручные носилки. Вдвоем они стали перекладывать капитана. Два немца внимательно следили за этой сценой. Вполне еврейская внешность Тышлера их, кажется, мало интересовала. Впрочем, со своей внешностью Дод мог спокойно прогуляться и за кавказца, и даже за союзника по «Оси», муссолиниевского легионера. Однако не он их интересовал, а сугубый славянин, майор Китайгородский. Командир танкистов сделал ему знак подойти и осведомился, говорит ли он по-немецки.

– Вы останетесь с нами, господин майор, – негрубо сказал он. – Все уходят, кроме вас.

– Я не могу! – вскричал Савва. – Ich kann nicht. Я здесь главный хирург! Ich bin Hauptdokter!

– Тем более! – дружелюбно ухмыльнулся немец. – Нам как раз главный и нужен. Мой друг ранен. Я хочу, чтобы вы ему помогли. Вы – хороший врач, вы будете служить Германии.

В отчаянии Савва рванулся. Молодой танкист ткнул ему в грудь дуло своего «шмайсера». Персонал и раненые покидали спортзал. В последний раз Савва поймал на себе взгляд Тышлера. Перед тем как исчезнуть, тот пожал плечами. Все повернулось совсем не так, как кто-либо мог предвидеть. Савва не мог вымолвить ни слова. Он сел в угол на битое стекло и закрыл голову руками.

Линия фронта, эта метафора окончательной, бесповоротной, биологической и идеологической гибели, теперь захлопывалась для него навсегда. И два единственно любимых существа, два женских человека, Нинка и Ёлка, то, что было еще десять минут назад его семьей, уносилось теперь в завывающую воронку... ля-бемоль, ля-бемоль... навсегда.

Глава VI

Бедные мальчики

Гигантские армии русских военнопленных и в самом деле были головной болью для германского командования. Доктрина немцев в начале войны была довольно проста: скорейшее уничтожение семимиллионной Красной Армии. Используя свою колоссальную мобильность и превосходство в воздухе, германские клинья рассекали тяжеловесные, неповоротливые соединения русских, брали их в «клещи», загоняли в «котлы» для дальнейшего истребления. Русские, однако, все чаще избегали прямого боя и уходили все дальше вглубь своей необозримой территории, вольно или невольно переводя сугубо военную доктрину генерал-фельдмаршала Кейтеля в доктрину геополитическую. Оставшиеся же в «котлах» полки, дивизии и армии бросали оружие, превращаясь в бесчисленные стада военнопленных, тяжелым балластом тормозившие наступление. Кто знает, почему иваны отказывались драться, – то ли запугали их до смерти ныряющие с воем из поднебесья «штуки», то ли сразу же уверовали в неизбежный разгром Сталина и не хотели класть свои жизни за проклятый «колхоз». Невоюющий враг иной раз может нарушить отлично разработанную стратегию не хуже мощной обороны. Немецкий журналист, напросившийся в кокпит бомбардировщика, записывал себе в блокнот: «Ничего не вижу внизу, кроме полнейшей конфузии». И так продолжалось почти несколько месяцев до начала битвы за Москву. Назойливо и даже оскорбительно для механизированной армии XX века напрашивалась аналогия с Наполеоном. Растягивающиеся коммуникации стали то и дело прерываться фанатическими отрядами бандитов, появившихся в тылу после призыва Сталина. Уже несколько раз массивные марши панцерных соединений останавливались из-за нехватки горючего.

А тут еще гигантские скопища военнопленных, которых надо было не только охранять, но и кормить. Их набралось к ноябрю сорок первого до миллиона. Распустить их нельзя, возникнут многочисленные зоны анархии и бандитизма. Уничтожить такую массу людей тоже довольно хлопотное дело, к тому же совершенно убийственное для пропаганды. Самым лучшим решением было бы отправить их в тыл для использования в качестве рабочей силы, но это опять же требует времени, детального планирования, огромной массы транспорта и нарушает стратегию блицкрига.

Пока что лагеря располагались посреди начинающих уже замерзать полей. Хорошо еще, если удавалось соорудить какое-то подобие навесов или сараев для укрытия от дождя и снега, чаще, однако, люди лежали вповалку прямо под открытым небом в зонах, лишь формально огороженных нитками колючей проволоки. Многие погибали от истощения и охлаждения, однако темпы вымирания были все-таки весьма разочаровывающими для германского командования.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.